

К ВОЗНЕСЕНИЮ

МАРТИН
МАКИННЕС

В ПЕРЕВОДЕ СЕРГЕЯ КАРПОВА

The
Booker
Prize
2023

И

Строки. Top-Fiction

Мартин МакИннес

К вознесению

«Строки»

2023

МакИннес М.

К вознесению / М. МакИннес — «Строки», 2023 — (Строки. Top-Fiction)

ISBN 978-5-00216-535-3

Роттердам будущего окружен сложной системой дамб, призванной сдерживать поднимающийся уровень моря. И хотя вода в теории должна представлять угрозу, для юной Ли она становится утешением – к воде она сбегает от нестабильного отца и внешне равнодушной, замкнутой в себе матери. Детская очарованность подводным миром становится профессией. На фоне изменения климата, грозящего прервать жизнь человека на Земле, Ли изучает первые формы жизни, на этой планете возникшие. Она становится частью исследовательской экспедиции, которая обнаруживает впадину, по глубине в разы превышающую Мариинскую. Открытие приводит Ли в пустыню Мохаве – к амбициозному новому космическому проекту. Все глубже вовлекаясь в работу, она узнает, что обнаруженная ими впадина – лишь одно из нескольких связанных между собой явлений по всему миру, и каждый элемент дополняет другие, образуя закономерность за пределами человеческого понимания. Ли знает: чтобы продолжить свои исследования, ей придется оставить позади семью и всю свою прошлую жизнь. И отправиться в путешествие на окраину Солнечной системы. Три факта о книге: 1. Роман вошел в лонг-лист Букеровской премии 2023 года. 2. «К вознесению» отмечен многочисленными наградами, включая премию Артура Кларка за лучший научно-фантастический роман, номинацией Goodreads Choice, а Национальная книжная премия Шотландии выбрала книгой года. 3. Это одновременно научно-фантастический роман, семейная драма и философская притча.

ISBN 978-5-00216-535-3

© МакИннес М., 2023

© Строки, 2023

Содержание

Часть первая	7
Один	7
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Мартин Макиннес

К вознесению

Перевод с английского Сергея Карпова

Дизайн обложки и иллюстрация Анастасии Лебедевой

© 2023 by Martin MacInnes

This edition published by arrangement with Atlantic Books Ltd. and Synopsis Literary Agency.



© Сергей Карпов, перевод на русский язык, 2026

© Издание на русском языке, оформление. Строки, 2026

Часть первая «Индевор»¹

Один

Я родилась в самой низкой части страны – семь метров ниже уровня моря. Когда через три года на свет появилась моя сестра, мы переехали южнее, в северный район Роттердама. Земля там была свежевскопанная, отвоеванная у морского дна, поднятая оттуда кораблями и укрепленная бетоном. Местами улица, построенная на мягкой почве, расползалась по швам. Помню горящий фимиам, солоноватый запах в домах: будто каждый миг – это заклинание, видение, что призывалось в наш мир.

Пляж у реки был искусственным, и, гуляя по нему, я представляла, будто под нами ничего нет, бездонная пропасть. Мы ходили туда по выходным и праздникам; отец пристально следил за приливами и отливами и никогда не оставался на одном месте, перебираясь то туда, то сюда. Я насыпала в пластиковое ведро песок, утрамбовывала, переворачивала, снова и снова. «Не копай слишком глубоко», – предупреждал отец и опять обращал бдительный взгляд к воде.

В ходе Второй мировой войны центр Роттердама – исторический старый город – полностью уничтожили. В детских воспоминаниях моих родителей сохранились просторы, широкие улицы и ветер, задувавший от порта. Тогда было видно дальше, потому что многое в городе сровняли с землей. Они показывали мне фотографии на белых карточках с широкими черными краями. Мутные пейзажи, всюду земля, и всё – от оставшихся зданий до человеческих силуэтов между ними – казалось меньше, приземистее. Это меня успокаивало, словно показывая, что мир растет и все еще находится в процессе творения. Может, когда-нибудь его доделают. А теперь горизонт Роттердама, сияющий огнями нефтезаводов, протянувшихся вдоль огромного порта, напоминал манхэттенский: лес из стали, хрома и стекла. Однажды в воскресенье, когда мне было пять, моя лопатка вошла в песок и стукнулась о бетон под ним. Тот удар отдался по всем моим нервам, закружилась голова. Все ненастоящее. Никогда не забуду выражение ужаса на лице отца. Я что-то сломала – говорил его взгляд. Я разрушила иллюзию, и теперь мне придется за это расплачиваться.

Моя мама Фенна – родом с севера, единственный ребенок медсестры и фабричного рабочего; они оба скончались к тому времени, когда она поступила в университет: мать – от рака, отец – от неизвестной болезни вскоре после нее. Хотелось бы представлять математику – страсть матери, дело всей ее жизни – неким утешением, побегом от реальности, скрытый под маской вызова этой самой реальности, однако, по словам первой кузины Фенны, Эрики, это не так. Фенна интересовалась математикой всегда. Не просто «интересовалась» – была ею очарована, одержима. Застенчивая, замкнутая в детстве, она редко заговаривала с людьми сама, и ее настолько привыкли видеть с книгой – руки сжимают томик, лежащий на приподнятых коленях, взгляд не отрывается от страницы, – что без книги в ней уже словно чего-то и не хватало.

Она никогда не пыталась объяснить, чем занимается, – пожалуй, эту вредную привычку переняла и я. Хотя она и провела почти всю жизнь в университете, но никогда не учила, никогда не преподавала. В математике не так уж важна коммуникация, передача чего-то от одного человека другому; математика – чище, она ближе к музыке; искусство откровений. Названия, что я видела на ее книжных полках, – «Философия параболических форм», «Трансформации

¹ От англ. *endeavour* – стремление. – Здесь и далее прим. ред.

в полете», «Гиперболическое движение», «Теорема об ультрапараллельных прямых», – казались выпуклостями на поверхности: я водила по ним пальцами, но не приближалась к тому, что скрывалось внутри. На одном корешке был изображен символ бесконечности – две петли, переходящие друг в друга, – и все, никакого названия. Я не имела понятия, чем мама занимается изо дня в день, не представляла, что она думает о своей жизни. Если бы Фенна заговорила на том языке, на котором думала, это был бы звук, которого еще не слышали на земле.

Она часто страдала от мигреней, лежала у себя в комнате с закрытыми глазами и с белым платком на лбу. Во время приступов ее напряжение буквально разливалось по всему дому. Наш отец Герт патрулировал коридоры, следил, чтобы мы не повышали голос, не хлопали дверями, не включали компьютер. Прожигал меня гневным взглядом даже за то, что я громко думала. Ему это нравилось – превращать заботу о Фенне в целую дисциплину. Так у него появлялись цель и занятие. Если подумать, то, когда она поднималась на ноги, было еще хуже – в те короткие периоды, когда все оставались без привычной роли и не знали, чем себя занять. Я не сомневаюсь, что Фенна преувеличивала свои мучения или как минимум иногда растягивала. Приступы мигрени возводили вокруг нее барьер, давали ей место и время наедине с собой. Не требовалось отвечать на вопросы, не приходилось ничего объяснять. Но главным образом это все из-за Герта – чтобы дать ему почувствовать себя полезным, поручить роль, отвлечь и тем самым защитить нас от его самых непредсказуемых сторон.

В детстве я испытывала боль по двум причинам, и одна из них – собственно рост. Мои кости росли внезапными и резкими рывками. В особенно мучительные ночи ноги невыносимо пульсировали. Я месяцами не высыпалась. Мне снились кошмары о миниатюрной работе, которая велась под моей кожей: меня перестраивали, оставляя сторонней и беспомощной наблюдательницей. Я покрывалась потом, иногда меня мучило от самой странности ощущений. Но Фенна всегда была вместе со мной, забывая о собственных страданиях. И ее не нужно было звать – я даже пикнуть не успевала, как она уже каким-то образом чувствовала, что нужна, и приходила. Утешала, убирала мокрые волосы у меня со лба, надавливала ладонями на мои бедра и лодыжки, сжимала их, впиваясь пальцами, а потом ритмично массировала вверх и вниз, сражаясь с болью и пытаясь вылепить из нее что-то более или менее терпимое. Помню, однажды я увидела ее в ногах своей кровати и сначала даже не узнала. Она с какой-то неистовой силой мяла мне ноги. Все мяла и мяла, методично и размеренно, а я старалась сохранять спокойствие, и слезы наворачивались не от боли, а от благодарности за первые внезапные признаки облегчения. Тогда, там, в темноте, она казалась чуть ли не частью меня. Теперь даже интересно, нравилось ли ей это – то, что я нуждалась в ней, ощущение, что мы едины. Ближе, чем в те мгновения, мы не были никогда. Хотя мы в таких случаях ни разу не разговаривали – да я и не смогла бы, даже если бы захотела. Она издавала странные, тихие, птичьи какие-то, трепещущие звуки, чтобы утешить меня, – последнее, что я слышала перед тем, как провалиться в сон.

Каждый вечер я измеряла свой рост сантиметром – не хотела пачкать стены отметками – и наутро замечала расхождения. Раньше меня это пугало – мысль, что вся эта сила идет откуда-то изнутри, что во мне заложено нечто, которое вот так разворачивается. Будто мое взрослое тело, уже заранее готовое, сжали, скрутили еще до рождения в аккуратный клубок и оставили медленно раскрываться. Было страшновато – я сомневалась, что справлюсь с этим сама; но по ночам мама не просто приглядывала за мной, а практически вручную направляла мой рост, мои изменения, и я знала: мне и не придется справляться в одиночку, потому что я не одна. Когда по утрам я делала первые неверные шаги, чтобы сесть на кухонную скамью – лицом к столу, спиной к стене, – Фенна смотрела на меня с простой благодарностью и удовольствием. Для меня это что-то значило – свидетельство, что мое появление ее радует, доказательство, что я правда ей нужна.

Герт всегда мечтал лишь об одном – стать архитектором. Решил еще в детстве, готовился к этому. Но что-то пошло не так, и вступительные экзамены закончились катастрофой. Он сдал их настолько ужасно, что отказался от любых повторных попыток. Он упустил свой единственный шанс и не сумел оправиться. Я узнала о его амбициях и об их крахе, когда уже долгое время не жила дома; сам он никогда ничего не рассказывал. Пробел снова восполнила Эрика. Она тоже не знала всего, но намекала, что причина в нервах: Герт страдал от парализующей тревожности.

Вот так Герт, который хотел быть только архитектором, строить на земле и видеть рост, занялся тем единственным, чего категорически не желал, – делом своих предков: он ушел в море. Сначала, как его отец и его дед, работал на атлантических траулерах, отсутствуя дома месяцами кряду. Он принял это решение, если я не ошибаюсь в своих подсчетах, примерно после провала на вступительных экзаменах – будто хотел себя наказать, почувствовать, как ободранную толстыми канатами кожу саднит от ледяного соленого ветра. Этим он занимался годами, продержавшись дольше многих, и скопил немало денег. А потом каким-то необъяснимым образом познакомился с Фенной.

Они буквально столкнулись на улице, ночью. Он был пьян, вывалился на нее из бара и тут же пришел в ужас от собственной неуклюжести. Следующие сутки они не расставались. После этого он изменился. Стал одержимым и больше ни о чем не мог думать. Герт проснулся другим человеком. У него появились цель и силы. Он не выносил разлуки с Фенной. Выход в море казался ему дезертирством, бедствием. На борту его мучили ревность и паранойя. Его не меньше других изумило, что Фенна – темноволосая, образованная, красивая – проявила к нему интерес, и он сам себя поддразнивал: наверняка это просто сон. Сойдя на берег, Герт принял на эмоциях скоропалительное решение, что совершенно не в его характере: зарекся снова подниматься на борт. Фенна наверняка скоро опомнится и не захочет его видеть, но ему нужен был крошечный шанс, что они могли бы продолжить встречаться, а то и – Герт и сам это представлял с трудом – построить совместное будущее. В тот день он сделал два звонка: один – судовому агенту, второй – женщине, с которой проведет остаток своей жизни.

Здесь есть все: море, таинственная женщина, случайная встреча, преобразившая две жизни. И то, что мой рассказ изобилует клише, по-моему, лишь доказывает, насколько необъясним и необоснован – и насколько ошибочен – их союз.

Как оказалось, Герт не расстался с морем окончательно. Он так и работал с ним почти четыре десятка лет, хоть и косвенно, до тех пор, когда наконец в каком-то безликом, скучном кабинете конторы по водоснабжению у него не отказали легкие – и он умер.

Прадед Герта со стороны отца работал в Голландской Ост-Индской компании – VOC – на ее последнем издыхании. И его отец работал в VOC – или так уж гласит легенда. Йоханнес, отец Герта, любил рассказывать о приключениях наших предков. Помню отрешенную улыбку Фенны – она не верила ни единому слову. «VOC, – говорил старик, – это начало современности, изобретение, которое сделало возможным все». И он показывал за окна, на Роттердам. Эта компания, учрежденная в 1602 году, первая в мире зарегистрировалась на бирже. Она обладала полномочиями государства. Ее флот бороздил весь мир, подписывал договоры, имел врагов и союзников, казнил пленных, колонизировал целые страны. VOC даже свои монеты чеканила. Йоханнес рассказывал об удивительных приключениях на далеких островах Индийского океана, о потерпевших крушение, о зарытых кладах, о невероятных открытиях, и мы с сестрой слушали раскрыв рты. В сравнении с этими историями, такими волнующими и драматичными, наша жизнь казалась серой и заурядной. Но, по словам Йоханнеса, эти приключения не были бы возможными, не будь Нидерланды такими, какие они есть. Именно низины и трудности возделывания земли и зародили VOC. Нидерландам пришлось переосмыслить себя, стать страной воображения. Первоначальные Нидерланды оставались на месте, зато их тень – VOC – обошла весь мир. Страна, окруженная со всех сторон водой, с трудом выживала на грани затопления,

а VOC процветала в мировых океанах; будто именно постоянная угроза, исходящая от воды, вдохновила Нидерланды познать океаны, как никто другой.

Герту все эти истории не нравились, и отчасти поэтому Йоханнес любил их рассказывать. Он был шумным, краснолицым здоровяком, который словно выплескивался из своего кресла. Нам он казался полной противоположностью своего сына Герта – жилистого, изможденного, нерешительного и необщительного. Но теперь, оглядываясь назад, я все вижу иначе. Герт всю жизнь боялся отца, при этом жаждал его внимания и одобрения и одновременно ненавидел себя за эту слабость. Все мелочи, что говорил Йоханнес, – шутки, смешившие нас замечания, – сказывались на Герте. Так и видишь, как Герт прикусывает язык и выходит из комнаты, и тогда за улыбкой Фенны крылось легкое беспокойство. Но мне бы и в голову не пришло, что Герт боялся Йоханнеса так же, как мы с сестрой боялись самого Герта.

Теперь-то очевидно: он не просто подозревал, что разочаровал отца, он подтверждал это снова и снова. Прежде всего своей работой. Отец считал Герта слабаком, не переносившим море. Всю свою жизнь, до самой кончины в городской конторе, Герт проработал инженером-гидравликом и консультантом в региональном управлении водного хозяйства *Waterschappen*. Как я узнала потом, когда после предсказуемого приступа раскаяния решила исследовать его жизнь и сложить детали в общую картину, корни *Waterschappen* тянулись аж из тринадцатого века: тогда эта организация состояла из нескольких полунезависимых правительственных органов, проводила выборы и собирала налоги. Йоханнес за все время не обмолвился об этом и словом – не хотел признавать заслуг Герта, – но трудно не провести параллели между новаторством *Waterschappen* и учреждением VOC. Деятельность *Waterschappen* и тогда, и сейчас была крайне важной. Жаль, я не понимала этого раньше, при жизни Герта.

Без *Waterschappen* не существовали бы и Нидерланды. Страну тут же бы затопила, победила вода; мы бы потеряли больше двух третей территории. *Waterschappen* с армией инженеров постоянно подстраивалось под условия и выдумывало новые способы перекрывать реки, откачивать излишки воды, строить искусственные береговые линии – как тот тонкий пляж, куда мы всегда ходили в моем детстве. Их труд не знал завершения; водное хозяйство – предприятие безграничное. Я не понимала тогда и отчетливо вижу теперь, какое бремя носил на своих плечах Герт каждый день своей долгой службы. Домой он возвращался по вечерам не с облегчением, а со смирением. Работа не кончалась. Выходные и отпуска – лишь временные передышки от изучения, предугадывания, перераспределения воды, которая иначе затопит весь регион Роттердама с населением, превышающим два миллиона человек.

Решившись на эту жизнь, он уже не мог ее оставить. Он злился на нас, своих дочерей, потому что мы его к этому принуждали, – одним своим существованием требуя нас обеспечивать. Но влияло на него и то, что он видел на работе: мир на краю гибели, враждебная людям среда, катастрофа, которую откладывают лишь хирургические вмешательства целых команд специалистов. Он не столько нуждался в благодарности, сколько ожидал хотя бы признания того, что угроза существует.

Он всюду встречал успокоенность и равнодушие, ненавидел их. Каждый вечер последним делом он выставлял наши тарелки к завтраку – как какой-то призыв, маленькая молитва, словно от его приготовлений и вложения сил выше вероятность, что наутро мир никуда не денется. Он вставал рано, даже в выходные, и от нас требовал того же; обычно – не позже семи утра. Помню, как он, бывало, на заре проходил, шурша щебнем, по саду к моему окну и с избыточной, напористой энергией принимался его шумно мыть. Позже я с удивлением задумалась: вдруг то, что я принимала за садизм, на самом деле было желанием подтолкнуть нас наслаждаться жизнью, выходить на улицу, чем-то заниматься. Наша свобода оскорбляла его, прикованного к работе, – но работа научила его тому, что нельзя жить пассивно, что за жизнь нужно бороться. Если уж он вкалывал столь усердно – а иногда он приходил домой с такими затекшими мышцами, что с трудом мог сидеть и предпочитал стоять в дверях или прислонив-

шись к стене, – то и мы могли бы пользоваться тем, что он нам дает, а не тратить время, валяясь в постели.

В детстве мы с сестрой даже не пытались понять его устрашающий характер – просто боялись его, старались спрятаться. Страшнее всего, наверное, была полная непредсказуемость. Мы не знали его, а значит, не знали, чего от него ожидать. Все, что мы говорили или делали, даже самое невинное, могло вызвать бурю. Я никогда не слышала, чтобы люди ревели так, как мой отец. Эхо этих могучих раскатов, казалось, потом еще часами, днями отдавались в комнатах. Он крушил мебель, швырялся вещами в стену. Его энергия, мощь его гнева изумляли. Он налетал невероятно быстро – в пару шагов преодолевал комнату, чтобы схватить меня за шкуру. Естественно, случались все эти вспышки, только когда Фенна была на работе. Словно, пока она молчала, его обида и злость копились и он ждал, когда их можно будет наконец выплеснуть.

Хелена, будучи на три года младше меня, избежала худшего. Герт часто поднимал руку на нас обеих – тяжелые подзатыльники, от которых мы закрывались и отбивались, защищая головы, чем только злили его и распаляли еще больше. Но хуже всего были методичные избиения, которые длились несколько минут подряд. И, насколько мне известно, Хелена им никогда не подвергалась. Не знаю почему. Может, Герт утолял аппетит на мне. Может, Хелена просто не так его раздражала. А может, моя реакция на побои не давала ему повторить то же самое и с младшей дочерью.

Никогда не говорила об этом с Фенной, но она наверняка знала. Мигрени, погружавшие весь дом в искусственную тишину – тишину, прерывавшую общение в любом виде, а значит, и наше с ней тоже, – могли быть и симптомом ее страха, беспомощности из-за гнева Герта. Хотя он и пальцем не трогал, угроза все равно чувствовалась, виделась по синякам у меня на руках, шее и лице. Меня раз за разом швыряли об стену. И чем сильнее становились побои, тем глубже Фенна уходила в себя. Она все меньше времени проводила дома, все дольше засиживалась в университете, удаляясь в свой чистый мир символов, логики, вечной истины. Довольно иронично – учитывая все то, что случилось дальше, – но я никогда не понимала Фенну и винила ее за то, что она нам не помогает. Конечно, откуда мне было знать, может, когда-то она и пыталась вступить, но из-за бурной реакции Герта оставила дальнейшие попытки. Долгие ночи, которые она молча, но не беззвучно проводила со мной, успокаивая мои растущие кости, – таков был ее способ заботиться обо мне, защищать, восстанавливать меня.

Мало что помню из слов матери о характере Герта, но кое-что было тем же самым, что наводило такой ужас на нас с Хеленой: никогда не угадаешь, что Герт сделает дальше. Говоря как-то об этом, мама улыбнулась, ее голос смягчился, взгляд устремился к чему-то из далекого прошлого: «Что ни сделает – все сюрприз».

Это казалось особенно трагичным, хотя и, наверное, не таким уж необычным: прежде положительная черта теперь стала основой всего самого худшего в нем. Как и все дети, я никогда не умела представить себе жизнь родителей до моего появления – в тот период невинности, когда обязательств и забот было меньше, – и уж точно не верила, будто характер Герта мог восхищать, очаровывать. Он всегда радовал маму вниманием, неожиданными подарками, спонтанными поездками на выходные. Попадая в необычную ситуацию – скажем, на встречу с родственниками Фенны или ее коллегами, что непросто для любого человека, особенно для такого молчаливого и замкнутого, – Герт удивлял жену, застигал врасплох, демонстрируя запасы терпения и новые стороны своей личности, и она влюблялась в него заново. Неужели это правда? В те далекие времена его полная непредсказуемость казалась почти бесконечной, говорила о безграничном, неудержимом характере. Он мог все. Склонность к насилию тоже могла крыться в нем с самого начала, просто ждала особых обстоятельств – появления детей, – но при этом не лежала в спячке, а активно подвигала Герта приносить радость, делать что-то хорошее. Может, поэтому-то Фенна не могла его остановить, не могла даже заговорить с ним о насилии: если бы

она осудила мужа, то осудила бы и все их прошлое счастье, а на это она, хоть и страдала из-за нашей боли – боли, которую явно испытывала и сама в виде мигреней, – пойти не могла.

За десятилетия в *Waterschappen* сложнее всего Герту было примириться с тем, как все менялось, особенно в плане автоматизации процессов, чему он особо не доверял. В его деле все основывалось на предсказуемости – прогноз ежегодного уровня воды, оценка надвигающегося шторма, решение о возможной эвакуации, – но в двадцать первом веке это с каждым годом становилось все труднее. Аномальные скачки температуры, сезоны вдруг накладывались друг на друга, усилилась опасность наводнений в течение года. Месячная норма осадков могла выпасть за один день. На волноломы и искусственные прибрежные барьеры, возведенные Гертом и его коллегами, обрушивались огромные валы. Трудная работа на глазах становилась невозможной. Рост температуры вызывал разливы рек, из-за чего образовались невысыхающие болота. С ними появились и комары, а те принесли в регион первые за семьдесят лет штаммы малярии. Герт к этому времени был уже на грани срыва – загруженный работой, неспособный ни объяснять перемены, ни успевать за ними. Действительность одолела его, выйдя далеко за пределы его воображения. Дома после работы, по вечерам, он был медлительный, неповоротливый, словно контуженный. Он понятия не имел, что готовит грядущий день; больше не мог представить, что случится. Наверняка это приводило его в ужас. На глазах менялась вся экосистема, а он ничего не мог поделать. Самая незначительная мелочь могла вызвать далекоидущие перемены. Комары колонизируют регион. Избыток соли уничтожит сельское хозяйство. Но и это только начало. Думаю, выглядывая за окно, он видел только конец света.

Вопреки его желанию, *Waterschappen* установило новые автоматические противоштормовые барьеры – систему с искусственным интеллектом, которая анализировала спутниковые данные и готовила защиту в случае наводнения. Теперь от непостижимых программ зависели жизни свыше двух миллионов человек – и это стало для Герта последней каплей. Он отстал от современности. Близилось время пенсии, и еще до его болезни было очевидно, что работать он не продолжит. Всю жизнь он посвятил тому, чтобы удержать море в берегах, и когда его легкие сдали, я думаю – или надеюсь, – в конце для него настало крохотное, кратчайшее мгновение покоя и смирения, когда он знал: борьба окончена.

Он, несостоявшийся архитектор, всегда считал себя и все свои достижения одним большим разочарованием, но ирония состоит в том – и жаль, что он сам этого не видел, – что он постоянно строил и перестраивал страну, час за часом, день за днем. Без страсти, ума и отваги таких людей, как Герт, нашей страны и не было бы. Он был и архитектором, и археологом, занимался планированием и раскопками, внедрял системы по забору и отведению воды, углублял дно, перерывал всю территорию, открывая ее белому свету. Так протянулись широкие, чрезвычайно хитроумные искусственные берега; из завезенного песка возводились полуострова и высокие насыпи, которые по мере движения воды естественным образом растворялись, равномерно распределяя песок вдоль края суши. Встроенные в берег бетонные и стальные мегаструктуры меняли и приподнимали его там, где требовалось, – такие были новые ландшафты, произведенные на заводах.

При жизни Герта я не говорила об этом ни слова. Наверное, думала, он этого от меня не заслуживает. Но порой задумываюсь, не стоило ли сказать хоть что-то из этого – может, не столь пространно, но все-таки: какой-то знак, какой-то показатель, что я ценю его достижения. Не стоило ли сказать – словно ему нужно было это услышать, – что она того стоила, эта битва длиной в сорок лет; что все было не зря.

Утром в день похорон Фенна где-то раскопала фотографию: на ней я в возрасте шести-семи лет и Герт, оба в резиновых сапогах и с улыбками до ушей. Фенна сказала, что в детстве, еще до школы, я всюду ходила за ним хвостом, в том числе на работу. Я уже и забыла. Меня всегда поражали острова, и теперь я помню, как Герт рассказывал, что Нидерланды в качестве

военной тактики, если стране грозило вторжение, раскрывали шлюзы и волноломы, затопляя страну и превращая в архипелаг, с уровнем воды слишком высоким, чтобы пройти пешком, но и слишком низким, чтобы проплыть. Уязвимость, превращенная в оборонную стратегию, в силу.

На похоронах я единственная из ближайших родственников помогала нести гроб. Я единственная была подходящего роста. Я всегда стыдилась своего роста; хотела быть изящной, как моя сестра, а не такой нескладной дылдой. Я несла своего отца, потому что походила на него больше, чем замечала; все это время я несла его частичку в себе.

Два

Когда Герт умер, мама вела себя как прежде. Она словно скорее удивилась, чем расстроилась, ее чуть ли не заинтриговала эта перемена в мире: неожиданно просторные дом и сад, меньше еды на столе, смягченные запахи и цвета, новое ощущение от матраса, отсутствие звуков, к которым она привыкла, – например, почти нескончаемый поток народной музыки, струящийся из радио в кухню и сад. Мы с Хеленой оставались с ней сколько могли, но она этого и не хотела, и не просила. Наутро после похорон она пришла на кухню собранная для работы, а потом уехала на велосипеде, как и в любой другой день. Мы, ненужные, слонялись по дому, пили, перебирали вещи Герта, Хелена взяла на себя практическую сторону и созванивалась с юристами, а я металась между отвратительной, дешевой ностальгией – примеряла обувь Герта, доставала его свитера и думала, не надеть ли, – и слепой яростью при вспоминании обо всем худшем. Хелена о моих крайностях не спрашивала, и через три дня, когда Фенна убедила нас, что с ней все хорошо, и только когда Эрика пообещала регулярно ее навещать, мы оставили маму одну.

Хелена переехала, как только смогла, – сначала в Нью-Йорк, потом в Джакарту; а я оставалась ближе к дому, изучала морскую экологию и микробиологию в Роттердаме и в Институте Общества Макса Планка в Бремене. Унаследовав мамин математический дар, Хелена занялась финансовым правом, работала в ряде банков и страховых компаний. И это она открыла мне глаза на то, чего я не видела: если она пошла по стопам Фенны, то я продолжила труд Герта. Меня это потрясло – как сам факт наследования, так и то, что я его не замечала.

Я почти ничего не помню из детства, первые воспоминания начинаются лет с пяти-шести. Меня всегда пугают рассказы других людей о каких-то мелочах из младенчества; я и представить себе не могу, чтобы память или речь могли настолько приближаться к небытию. Говорить я начала поздно, близко к школьному возрасту, и Фенна тогда из-за меня волновалась. Я никогда не расспрашивала Хелену о ее первых воспоминаниях, но не удивилась бы, если бы ее опыт оказался полностью противоположным. Мы с Хеленой очень разные, нас разделяет гораздо больше, чем три года и два океана. Первое, что приходит в голову при мысли о ней, – это выражение лица, стойкое и одновременно невинное, рот, приоткрыт в виде маленькой «о». Представляю ее себе мультяшным олененком: маленькая, робкая, незащищенная. Это идеализированная картинка – свойственная мне, с моими неумением разбираться в людях и склонностью подменять наблюдения сантиментами, ведь Хелена намного сильнее, чем можно подумывать. В детстве нас сблизил необходимость: не в силах разобраться, что с нами происходит, мы естественным образом обратились за помощью друг к другу – к тому единственному, кто мог понять. И вполне логично, что она сбежала, как только представилась возможность. Я ее никогда не винила.

Хотя худшее и обошло Хелену, она все равно страшно боялась отца. Она была очень умной, очень умелой. И отчего-то не казалась мишенью, жертвой – не знаю отчего. Это какой-то талант, умение. Она держалась спокойнее, она смирялась, а я возмущалась. Она не жало-

влась и всегда смотрела в будущее, видела все своим внимательным взглядом под неловкой строгой челкой подростковых лет. Не уверена, что видела когда-нибудь, как она плачет; она обладает удивительным умением – встречать практически что угодно с внешним хладнокровием. Герту это нравилось, а я завидовала; мне тоже хотелось быть сдержанной и стойкой, как Хелена, которая просто отмахивалась от мира. Но у меня так никогда не получалось.

Все те ночи, когда Фенна массировала мне ноги, Хелена крепко спала. Это тоже дар, с которым она родилась и который сохранила до сих пор. Она любит поспать; я иногда с осуждением думаю, что сон ей к лицу потому, что она и в жизни все равно такая же. Но вообще-то со временем, когда мы переехали в новый дом, по-прежнему в Роттердаме, и у нас впервые появились свои комнаты, Хелена становилась все решительней и уверенней в себе. У нее изменился голос: стал ниже, громче, требовал с ней считаться. И опять же, я этому завидовала. Хелена обладала привилегиями младшего ребенка: она наблюдала за тем, что происходило со мной, и училась, выстраивала характер, чтобы защищаться. Я такой роскоши не имела. Я родилась первой; ничего не знала; могла быть только собой – болтать ногами, сидя на стуле, читать с открытым ртом. Хелена была реалисткой, бойцом, она выживала. Террор Герта, как это ни иронично, выковал из нее человека, способного его выдержать, и по этой причине она реже становилась его мишенью.

В детстве, когда у нас еще была общая комната – с двухэтажной кроватью, которую я обожала из-за ощущения закрытости от мира, уюта, единения, – мы, естественно, многим делились. У Хелены было преимущество в виде книг, что я прочитала, и недостаток в виде одежды, из которой я слишком быстро вырастала. Мы выдумывали игры, сочиняли вычурные истории, где героически выступали против безымянных врагов. У нас были игрушки, общий компьютер, но больше всего нам нравилось – и я уверена, как ни в чем другом, что это нравилось нам одинаково, – гулять на улице, в поле у нашего первого дома или в небольшом леске рядом с полем. Там мы проводили часы напролет: продирались через густой подлесок, прокладывая туннели своими телами, создавая закоулки там, где ничего не было, пока не приходили мы. Многие мои воспоминания об играх – немые; мы что-то делали, но не говорили ни слова. Тоже по-своему стратегия: без слов казалось, что время не проходит, а расширяется, а наше решение не говорить о Герте было среди прочего попыткой сделать его нереальным. Один-единственный раз, когда я заговорила с Хеленой о побоях, я об этом тут же пожалела: ее глаза так и умоляли замолчать. Как ради нее, так и ради меня; ничего хорошего из этого просто бы не вышло. С тех пор мы не только навсегда закрыли тему, но и сама Хелена, казалось, переписала для себя прошлое, силой воли заставила себя поверить, будто ничего такого с нами не происходило.

Наша ранняя близость нам не помогла – это очевидно. С возрастом мы отдалились друг от друга. Шаг упреждающий, тактический. Хелена рисковала стать слишком похожей на меня и превратиться в такую же мишень для отцовских издевательств. Ей пришлось стать сильнее. Только оттолкнув меня – пусть даже я при этом ничего не понимала и обижалась – и выкроив свое место в мире, она могла стать собой. По-другому не сказать: я ее только сдерживала, привлекала к ней насилие. Если бы она оставалась со мной, оставалась такой, как я, то я не сомневаюсь: досталось бы и ей.

За что я больше всего благодарна в жизни, так это за то, что Хелена не стала похожа на меня. Если хоть что-то и оправдывает все мое существование, то именно это. Я – отрицательный пример. Если я всю жизнь совершала ошибки, беспомощно и неосознанно притягивала к себе страдания, то оно того стоило, ведь все эти страдания я оттягивала от сестры. И, в конце концов сбегав, дальше она могла вести счастливую, комфортную и самостоятельную жизнь без меня.

Наш возраст вечно путали с самой юности – и это притом, что я на двенадцать сантиметров выше. Что бы я ни делала, как бы себя ни вела, меня всегда принимали за младшую сестру. Дело в чем-то мимолетном, неопишемом. Это аура, умение свободно жить в мире,

которые невозможно подделать и которых у меня никогда не было. Хелена откуда-то просто знает свое место, знает, что имеет право находиться там, где находится. Это даже удивительно. При наших встречах – когда я навещаю ее в Индонезии и мы вместе плаваем на лодках, или когда она прилетает домой и мы сидим в барах – я всегда младшая, всегда ведомая. Дело даже не в том, кто сколько зарабатывает, – это что-то основополагающее. У моей сестры есть зрелость, взвешенная точка зрения, что для меня совершенно чуждо. Для меня мир не логичен и никогда не станет. Он намного интереснее.

С десяти лет мне разрешали плавать одной в реке Нйиве-Маас. Холодная вода пробирала до костей, успокаивала и помогала ни о чем не думать. Я входила в нее, ложилась на спину, закрывала глаза и просто плыла. Потом выбредала обратно на каменистый пляж, с синими и онемевшими от холода ногами. Заворачивалась в полотенце, вся дрожа, и усаживалась, положив подбородок на колени. Вытряхивала воду из ушей – и возвращался шум машин. Домой не тянуло, и я долго уговаривала себя подняться. Камни больно впивались в тонкую кожу стоп, и каждый раз, уходя с пляжа, я говорила себе, что надо всего-то положить эти самые камни в карманы, зайти в воду, и больше никогда не придется возвращаться домой.

Это была полезная фантазия; я могла жить дальше, потому что знала, что это можно прекратить в любой момент. Каждый раз я заплывала чуть дальше, и когда выходила на берег, камни врезались в ноги чуть сильнее. Однажды, в начале осени, я чувствовала себя особенно обреченно. Не видела никаких реалистичных способов спасения от жизни с Гертом и пребывала в постоянном ужасе. Надвигались грозовые тучи, пляж обезлюдел. Я ощутила опасный порыв, свободу отказаться от самосохранения – и шагнула в воду с перекошенным лицом. Вода обожгла, вспугнутая энергия заметалась по всему телу. Было ужасно холодно. Когда я вошла по плечи, начались судороги в груди, я наглоталась горькой воды, и пришло очень смутное, словно издавека, осознание, что я готова.

Я нырнула с открытыми глазами – так, словно бурилась к самому дну. Глубина там всего несколько метров, но казалось, будто я прорываюсь еще дальше, будто я в расщелине и заплываю на новую территорию, в собственную тайную пещеру. Я взбаламутила воду вокруг, но, остановившись, вдруг увидела все очень четко. Большие камни на речном дне, пестрящие червями, губками, моллюсками и лишайниками. За ними – клоки колышущихся зеленых и лиловых водорослей. И ни звука; не стучало от давления воды в ушах, не болтали несмолкающие голоса в голове. Я смотрела перед собой, замерев горизонтально под поверхностью, не двигаясь, чтобы не поднимать ил, и ни с того ни с сего осознала – внезапно, во всей полноте, – что все вокруг живое.

Ничто не отделяло меня от живого мира. Меня прижало к кишасей необъятности, каждый кубический миллиметр воды был под завязку набит жизнью. Организмами такими маленькими, что я их не видела, но каким-то образом чувствовала их присутствие, их близость. Я смотрела не *сквозь* воду на жизнь, я смотрела прямо в водяную жизнь – огромную лоскутную ткань, державшую мое тело, вливавшуюся в ноздри, уши, поры и щелочки кожи, вихрившуюся в волосах, входящую в те самые глаза, что за ней наблюдали. Казалось, что целые минуты – хотя в реальности, должно быть, всего секунды – я разглядывала совершенно другой мир, место, наполненное смыслом и сложностью; подобно неводу, я парила среди бесчисленного множества независимых организмов и цепляла этих неопикуемых существ мелкими движениями и колебаниями тела.

Потрясенная, я вырвалась на поверхность, хватая ртом воздух, откашливаясь и отплевываясь, когда вода хлынула из меня. С каждым содроганием я невольно уходила под воду. Наконец собралась с силами и поискала глазами берег.

Но берег пропал. Над водой плыли густые белые облака. Я обернулась – но и там туман скрывал горизонт. Я не паниковала. Я почувствовала, как на плечи ложится тепло, ощутила

спокойствие. И несколько секунд просто дрейфовала. Потом остановилась, вытрясла остатки воды из ушей и прислушалась к шуму машин. Снова погрузилась под воду и понеслась вперед. Меньше чем через минуту я уже выходила на берег.

Туман все сгущался, мне не удавалось найти вещи – я и собственные руки видела с трудом. Я осторожно прошла по гальке в одну сторону, вернулась и прошла в другую. Наконец отыскав свой сверток – полотенце, кроссовки с набитыми внутрь шерстяными носками и ключом от дома, джинсы, свитер и футболка, – я смотрела на него так, будто это чужие вещи, не мои. Собираясь, одеваясь, я чувствовала, что лишь теперь облакаюсь в личность, что была прозрачной до тех пор, пока не вошла в эту подготовленную форму, причем эта форма необязательно соответствовала той, кем – или чем – я являлась.

И только вытираясь и одеваясь, я снова поняла, как же холодно. Руки стали темно-красными, а костяшки пальцев отливали синим и ныли при надавливании, как будто ушибленные. Подошвы изношенных кроссовок давно растрескались от того, как много я ходила по одной и той же земле. Я сильнее сжала ключ, чтобы преодолеть тупую бесчувственность окоченевших ладоней. И держалась за это ощущение, дрожа от холода и думая о Хелене, о том, сколько надо ей рассказать.

Я наспех вытерла волосы, убедилась, что ничего не забыла, и побежала по камням к проему в длинной стене. Вылетела на тропинку, которая шла параллельно дороге. Я бежала как только могла, вырабатывая тепло, замечая, как по лицу хлещут влажные волосы, глядя, как по земле мелькают стопы, наслаждаясь движением и одновременно ощущая себя отдельно от него – будто находилась сразу в двух местах. Увидев в конце дороги дом, я остановилась, чтобы подготовиться. Надо было опять стать собой, принять прежнюю форму, понять, что говорить. Я побывала в каком-то диком и опасном краю, а теперь пришло время вернуться. И от этой мысли, об абсурдных ритуалах семейной жизни, снова начались судороги, но теперь уже от смеха – глубокого, вздымающего все внутри с такой силой, что я согнулась пополам прямо на обочине и уперлась руками в колени, чувствуя щемящее тепло каждого вдоха.

Три

Микроскоп словно спонтанно порождал существ, создавал жизнь там, где ее до этого не было. Они напоминали крошечные округлые осколки стекла, и если бы не двигались каждый сам по себе, то я бы приняла их за отражения в линзе. Получив этот подарок на одиннадцатый день рождения, я все больше увлекалась микроскопией. Научилась лучше видеть, расширять мир, уменьшая его, и заглядывать в самые маленькие щелочки. Глубже и глубже зарываясь в микромиры, я обнаруживала невообразимые вместилища пространства и времени. Эти существа были сложными, целеустремленными и по-своему прекрасными – тугие клубочки ДНК, окруженные жгутиками, помогающими им толкаться сквозь воду. Я в изумлении вглядывалась в овальное ядро амебы. Бактерии обладали разумом и волей; могли чувствовать, реагировали на раздражители, ощущали и понимали время. При таком увеличении я могла видеть и клетки, составляющие мое собственное тело.

Обычно я ничего этого не видела. Лишь при внимательном и осознанном изучении я разглядела то, что всегда находилось у меня под носом. Чем я и занималась в школе и дома. То время запомнилось мне как великий период видимости, когда мир ворвался в поле моего зрения. Оказалось, что воздух полнится жизнью – как и океаны, и реки. В ложке морской воды или в щепотке земли находятся миллиарды живых существ. Мы слепы к этому из необходимости, потому что иначе не смогли бы сдвинуться с места. Оно вокруг нас, между нами, на нашей поверхности и внутри. Покрывает наши тела, и мы высвобождаем целые потоки жизни, когда выдыхаем или говорим. Оно в каждой клетке кожи, в ресницах, что трепещут во сне. Оно адаптировалось ко всем аспектам нашего поведения; если животных затемнить, а мик-

роорганизмы высветить, то в этих ярких перифериях можно увидеть наши призраки. Моими любимыми разновидностями были те, которые долго лежали в спячке и потом оживали, – как коловратки, найденные под ледяным покровом после двадцати четырех тысяч безжизненных лет. Способные выдержать практически любую стихию, они словно стирали грань между жизнью и смертью, опровергали понятие прямого, линейного времени, намекая на что-то скорее циклическое, повторяющееся.

Все школьные годы я изо всех сил старалась оставаться безликой, чему не помогал мой необычный рост. Каждое мое решение служило общей цели – быть менее заметной. Становясь все выше и выше, дома я научилась менять осанку так, чтобы казаться ниже. Мой рост был вызывающим, слишком громким, оскорблением моему отцу. Кто дал мне право так расти, занимать столь непропорционально много места в доме?

В подростковом возрасте рост наконец остановился, я перестала бросаться в глаза среди сверстников. После уроков я ходила в несколько клубов и оказалась среди других ребят с похожими интересами к лабораторным и полевым исследованиям. А уехав из дома в университет, с головой окунувшись в учебу – и добились успеха. Впервые в жизни я чувствовала себя непринужденно и уверенно в том, чем занималась. Хотя родители и сестра жили всего в паре километров, виделась я с ними редко. Наши отношения изменились, нам было друг с другом неловко, мы не знали, как сесть, когда встречались в ресторане. Даже Хелена смотрела на меня с любопытством, интересом, замечая резкие перемены.

При первой же возможности я выбрала специализацию «морские исследования». Я уже начала учить немецкий для защиты магистерской диссертации в Бремене. Результатом защиты стала шестинедельная работа на расстоянии трети Атлантического океана от Нидерландов – я собирала фитопланктон в горных озерах на Азорских островах. Подземная температура, удаленность и сравнительно чистый воздух из-за небольшого количества транспортных средств делали озеро многообещающим местом для поиска необычных видов водорослей.

Я выходила каждое утро спозаранку, чтобы забраться повыше еще до восхода солнца. Я плавала и ныряла, собирая образцы, которые хранила в холодильнике в своей комнате в гостевом доме. Сначала это было рутиной, но еще до конца первой недели я поняла, что наслаждаюсь: чистый воздух, необычная геология, необходимость основывать все планы и передвижения на климате. Я скучала по этому времени в одиночестве, на природе, вдали от неосознанного, но непрерывного массового контакта в городе. Мне было двадцать три, я работала одна, мой португальский ограничивался простейшим лексиконом и дежурными фразами. Я жила у молодой семьи на большой вилле восемнадцатого века, в двадцати минутах езды от главного порта. Мне готовили завтрак и ужин; поначалу это смущало, я жестаами объясняла, что могу сама о себе позаботиться, но под конец приняла и даже полюбила свое положение пассивного и по большей части молчаливого ребенка-переростка.

По вечерам перед сном я плавала в бухточке у гестхауса, ныряла и резвилась в белом тягучем прибое, наблюдала, как каждый вечер с убыванием луны звезды становятся ярче, забывалась и забывала все вокруг – небо, море, – дрейфовала, кувыркалась, погружалась в прохладную воду, а потом выходила, запыхавшись, на твердый песок и в задумчивости сидела на длинных плоских камнях. Представляла себе такую жизнь – в контакте с миром, как я это видела. Мечтала строить карьеру: я буду развивать свои исследования, я не буду стоять на месте, буду решительней и преданней делу, чем любой мой однокурсник. Это стало целью и приоритетом моей жизни – важнее семьи, отношений, важнее любых других видов знаний или достижений. Я буду трудиться на износ, находя счастье в работе.

Машин было мало, пустые дороги вились, будто игрушечные, петляли под дикими углами в крутых подъемах из деревень в горы. На уровне моря давила жара, ее облегчал только прохладный ветер, проникающий через искусственные коридоры. Я вспоминала отца и старый

Роттердам, о котором он рассказывал: широкие улицы, проложенные на месте уничтоженного средневекового города, ветер, что теперь не попадает в центр, упираясь в огромные офисные высотки из стали и стекла. Корабли *VOC* ходили в Индийский океан старым маршрутом, двигаясь сперва на запад, подхваченные ветрами от Кабо-Верде и Азорских островов, а потом, следуя за течениями, – на юг и поворачивая на восток у мыса Доброй Надежды. Те же ветра сейчас неслись надо мной, разбиваясь о плоские белые здания и швыряя прибой на валуны.

Горные озера были так далеко и путь к ним был таким мучительным, что люди туда по большей части не заходили. На высоте тропинки, ведущие к кратерам, становились узкими и крутыми, и иногда приходилось спускаться при помощи веревок. Добиралась я туда вспотевшая, обгоревшая и запыхавшаяся, быстро разбивала лагерь – полотенец, воткнутый в землю зонт, бутылка воды, рабочий комплект, – и забредала в изумрудно-зеленую воду. Собирала образцы с верхнего, среднего и нижнего уровней, складывала пробирки в охлажденные контейнеры, лежащие в рюкзаке. Позволяла себе ненадолго прилечь, обсыхая и набираясь сил перед долгим подъемом из кратера и последующей дорогой домой по горам.

На обратном пути я вдыхала серный запах гейзеров, наблюдала за белым паром, вьющимся к небу. Крестьяне запекали в них мясо, и туши пропитывались ароматом и ощущением обожженных скал. Деликатес для пассажиров круизных лайнеров, которые приплывали сюда на яхтах с островов побольше. Меня завораживали и тошнотворные запахи – гниения, плоти, – и сам вид обугленных шматов, когда их извлекали из расщелин. Я представляла себе, будто мясо было там всегда, горело под землей, а теперь его добывают и едят – своего рода ритуальное поедание божества. Мощные выбросы воды и пара напоминали о том, как появились эти острова: хаос лавы и огня, остывание, отверждение, рождение рельефа.

Однажды вечером я возвращалась в деревню, как тут распознала его – чувство, будто изменилось что-то неуловимое. Сначала я спутала его с собственным постоянным ощущением, что нахожусь не на своем месте; я испытывала некое отчуждение от окружающих – из-за незнания языка, непонимания контекста. Как обычно, я спустилась от озер около шести, чувствуя усталость, напряжение лодыжек, машинальные движения тела. Завидев гестхаус, я остановилась. Обычно закрытые к этому времени кафе работали; по улицам, как правило безлюдным, по двое и трое гуляли люди; из невидимых динамиков звучали голоса и музыка. Если я и увидела больше людей, чем всегда, если и ощутила сперва возбуждение и новые перспективы, то объяснила неправильно – удовлетворением после долгой и плодотворной работы, после приятного, даже волнующего спуска с гор. Думала, что изменилась не обстановка, а мое восприятие.

Но я все равно наслаждалась этим чувством, хотела его растянуть. Я устала и сильно проголодалась, так что решила перекусить веганским бургером в работавшей допоздна кафешке. Села за столик, сделала заказ. От моих заметок меня отвлек телевизор, висевший над барной стойкой. Показывали новости: трое человек стояли за трибуной, окруженные десятками микрофонов и камер. Я разглядела жирные буквы, бегущие внизу экрана: ООН, НАСА. Вздвогнув, я тут же потянулась за телефоном, но остановилась, вспомнив, что он разрядился, – впрочем, я его не заряжала нарочно. Если новость действительно важная, то скоро я и так узнаю.

Я быстро и жадно поела, выпила три бутылки пшеничного пива, потом вышла из кафе и прогулочным шагом направилась через центральную площадь к гестхаусу. И снова возникло ощущение новизны, уверенности, что не просто что-то изменилось, но что эта перемена выставлялась напоказ, проживалась вокруг меня. Я гадала, не приближается ли какой-нибудь местный праздник, и это первая, тихая стадия подготовки. Не было ни костюмов, ни лотков, да и на улицах, хотя и более оживленных, не собирались толпы. И все-таки я чувствовала, практически осязала, что происходит нечто новое. Остановившись, я попыталась понять, что же именно, но ничего не увидела. «Наслаждайся, – сказала я себе. – Так ли уж важно понимать смысл? Наслаждайся самым ощущением».

После теплого вечернего воздуха в полумраке прихожей гостевого дома встретила меня прохлада. Темные полки и шкафчики были сделаны из красного дерева с внутренних островов. В дверях я чуть не столкнулась с Изабеллой. Изабелла – темноволосая и миниатюрная, ненамного старше меня – улыбнулась, как обычно, и мы повторили свой дежурный диалог. Но в этот раз вместо того, чтобы пожелать мне *boa noite*², она стояла и улыбалась с каким-то ожиданием. Потом что-то сказала, но я не поняла. Я почувствовала бессилие из-за своего незнания языка – казалось, что я должна понимать эти слова, что они важны, но они все равно ничего для меня не значили. Я постаралась ответить теплой и извиняющейся улыбкой и в конце концов просто пожала плечами. А когда повернулась к лестнице темного дерева, Изабелла окликнула меня по имени с новой интонацией. Она опять улыбнулась, махнула в мою сторону, потом нарисовала пальцами в воздухе круг, показывая наверх. Я неопределенно кивнула и поднялась к себе.

Той ночью, когда мои веки уже отяжелели и я пошла затворить окна и откинуть одеяло на кровати, в памяти всплыла картинка с телеэкрана. Было в ней что-то странное. Не мельтешащие микрофоны или вспышки фотоаппаратов, а выражения на лицах ученых. Они улыбались. У старшего, стоявшего в центре, лицо покраснелось, волосы растрепались. Видно, что обошлись без обычной трудоемкой подготовки к пресс-конференции. Царила атмосфера спонтанности и возбуждения – та же самая, которую ранее я заметила в деревне и в кафе, та же, с которой Изабелла встретила меня у лестницы, когда показывала на меня и на небо.

Все последние четыре дня я видела в море кашалотов. Появились туристы – узкие яхты с хребтами, образованными солнечными очками, телефонами и ярко-оранжевыми спасжилетами. Не смолкало жужжание дронов с камерами. Я возвращалась домой без сил, руки и ноги гудели после долгих крутых тропинок к озерам и обратно. Съедала большие миски пасты и запивала водой из кувшина со льдом и лаймом. По ночам в створках двухсот- и трехсотлетних зданий шептал ветер. У причала покачивались лодки. Раздавались всплески – возможно, опять из воды показался кашалот; без лунного света было не понять. В ночь перед рейсом я в последний раз осторожно прошла мимо скал, чтобы покачаться на черной, как нефть, воде, глядя вверх, на небесную необъятность.

Сидя у окна, выходящего на летное поле, я услышала оповещение телефона, подключившегося к вайфаю аэропорта, и зашла в интернет. Новость всюду была главной. Подробности еще ожидалось, а первое сообщение звучало кратко: инженеры НАСА совершили радикальный прорыв в проектировании двигателей. По слухам, теперь космический корабль сможет развивать скорость, превышающую прежнюю в десять тысяч раз. Пока ученый совет говорил лишь о том, что в следующие годы начнется «масштабное внедрение» технологий. Исследователи готовили крупные испытания, но это уже называли одним из важнейших инженерных открытий в истории. Конкретики не было, но речь явно шла о каком-нибудь ядерном двигателе. Неужели наконец-то открыли безопасный термоядерный синтез?

В ожидании вылета я читала письмо за письмом, статью за статьей. Хавьер писал, что не назвал бы это мистификацией, но результаты так называемого прорыва мы увидим только через годы, так что в этом смысле не произошло ничего важного. Лучше сохранять скепсис: все это может оказаться красивым пиаром, чрезмерной волной хороших новостей после всего, что творилось в последние годы.

Реакция других граничила с фанатичным восторгом. Не из-за самого прорыва, а из-за того, к чему он способен привести в будущем, из-за связанных с ним прогресса и возможных применений. Чувствовался потенциал для творческого взрыва – одна-единственная ключевая перемена могла породить целые новые отрасли.

² Спокойной ночи (*португ.*).

Общее мнение находилось где-то посередине и выглядело как осторожный оптимизм из серии «поживем – увидим». Деталей так и не последовало. По словам ученых, все это только на этапе планирования. И все равно я не могла не воспрянуть духом, не заразиться чувством надежды, возможности, откровения. Ведь самое волнующее – это неизвестность: никто не представлял, что случится дальше. Может, скептики и окажутся правы – исследование застопорится или последствия будут не такими уж масштабными, как хотелось бы, – но пока этого никто не знал. «А вот что нам действительно дали, – думала я, – это то, в чем мы все особенно нуждались: надежду».

Четыре

В начале последнего года докторантуры я вылетела на карибское побережье Южной Америки. Научрук устроил меня подсобной рабочей на научно-экспедиционное судно, которое отправлялось на юго-восток через Атлантический океан. Точную цель экспедиции я не знала, но рвалась получить опыт работы на борту, а других вариантов не предвиделось. В ожидании новостей об отплытии корабля я провела три дня в старом городе, окруженном крепостными стенами. Рейс был рассчитан на один-два месяца. Я снова и снова бродила по городу, по спирали от старинного центра, разглядывала огромные неприступные двери, длинные тени, вычурные соборы, провонявшие прогнившим водопроводом. Подтверждение в конце концов пришло, когда я уже устала надеяться: «Индевор» отбывал на следующее утро из глубоководной гавани, что в двадцати километрах от крепостных стен.

Во время отправления небо было чистым, ветра не ощущалось, укрепления города быстро пропали из виду; после продолжительной демонстрации правил эвакуации, которую провели двое матросов из русского экипажа, меня проводили в каюту – низкую и длинную коробку с железными койками, установленными вдоль стен. Она располагалась всего в паре метров над ватерлинией, иллюминатор был наглухо задраен и покрашен. Я перебросилась парой слов с соседями – такими же молодыми учеными, – сложила вещи в отведенные мне выдвижные ящики, заперла, чтобы ничего не выпало, и направилась на кухню. Нам предстояло чередовать кухонное, постирочное и «мокрое» дежурства – то есть помогать с подготовкой к ежедневным погружениям, – и хотя условное расписание уже существовало, оно могло меняться в любой момент.

«Индевор» – пятипалубное судно длиной около шестидесяти метров, серовато-белого цвета, с открытой ярко-зеленой палубой. Коридоры – длинные и тесные, все внутренности – однообразные и запутанные: стены с рядами дверей, за которыми прячутся одинаковые каюты; лестницы и массивные белые стальные двери выводят на морской воздух.

Первые дни были длинными, скучными, сложными. Не только из-за работы, но и из-за привыкания к кораблю – к шатким полу и стенам, особенно коварным, когда разносишь еду и напитки. Перед каждым шагом надо было подумать, посмотреть под ноги, окинуть взглядом других пассажиров. Я постоянно сохраняла бдительность и скепсис, а это оказалось очень утомительным. К моменту вечерней уборки я совершенно выбивалась из сил и мечтала вернуться в каюту и отключиться. Свободного времени у меня не было. Вдобавок давило то, что я никого не знала, но при этом постоянно контактировала со множеством людей, когда разносила еду или убиралась. В первый день на кухне мне помогал Феликс, один из соседей по каюте, – на десять сантиметров ниже меня, в неизменной красной кепке, – но в остальном у меня не случилось разговоров длиннее пары фраз.

На четвертый день я наконец смогла поработать на палубе с ныряльщиками: проверяла акваланги, карты памяти, костюмы, в нескольких спусках отмечала время погружения и возвращения. Хотя я была рада вернуться на свежий воздух, меня раздражала необходимость

готовиться к погружению, которое предстояло совершать не мне. Я сидела на корточках, пока на меня рушилась волна, соленая вода саднила горло. На горизонте виднелись необитаемые атоллы. Но настоящий интерес, собственно цель погружений, представляли подводные рифы.

Дайверы погружались на восемнадцать – тридцать метров, до пределов возможного. Когда я встречала и проверяла состояние каждого всплывавшего аквалангиста, они кивали в ответ с остекленевшими взглядами. Лежа в костюмах на палубе, они выглядели безымянными, безличными, непохожими на людей. Вообще-то я ни разу не слышала, чтобы они говорили. Забавно думать, что я улыбалась этим людям в коридорах или подавала тарелки в столовой, и узнавание было односторонним. Даже глядя им в глаза, я не могла сопоставить их с лицами, которые видела на корабле; они оставались загадочными, будто выползли из воды и каждый вечер возвращались туда.

Мы провели пять долгих дней и ночей у рифа Сан-Андреас. Я отвечала за безопасное извлечение карт памяти и загрузку видео на сервер. Дайверы работали неустанно, уходили под воду в сумерках с налобными лампами и фонарями, спали пару часов и снова ныряли в не успевших просохнуть костюмах. На горизонте мелькали гигантские акулы; огромные китовые акулы медленно и скорбно кружили внизу. Лучшее из необработанного материала показывали после ужина на экране в кинозале, оставляли заикленным на ночь, и без звука и сюжета видео поражало еще сильнее – сцены, сами по себе: внезапное просветление, когда густые мутные облака вдруг преображаются в прямое противостояние с животным.

– Еще никто ничего не планирует, – сказал он. – Мы пока просто собираем данные. Известно, что на морском дне есть то, что нам нужно, но если потенциальный ущерб признают слишком большим, то бурить мы не станем. Вот и все. Мы никакие не злодеи. Что хорошо на «Индеворе» – мы вместе работаем, вместе пьем. И в твоих интересах поделиться тем, что ты знаешь, а иначе как мы оценим риск? Как поймем, что совершаем ошибку? И если мы все-таки будем бурить, то как это сделать поаккуратнее?

Забирая у них тарелки, я задержалась чуть дольше, чем нужно. Мы, обслуживающий персонал, были невидимками, и у этого имелись преимущества. Выпуская через густые усы широкие австралийские гласные, Ник Фримен на меня даже не взглянул. Его – консультанта одной южноафриканской фирмы – у нас знали все. Он сидел рядом с девушкой ненамного старше меня; секунду назад, когда я собирала пустую посуду, она подняла на меня взгляд и одними губами произнесла «спасибо». У меня было смутное ощущение, что она палеонтолог, но я не помнила, откуда это знаю.

– Некоторые виды из тех записей на стене, – женщина говорила сухо и невозмутимо, – похожи на первые подвижные организмы. Первые нервные системы, возникшие пятьсот семьдесят миллионов лет назад. Когда мы придумаем для них названия, они все уже могут исчезнуть.

– Согласен, – кивнул Ник. – Было бы лучше их не обнаружить. Но мы уже здесь. Назад время не отмотать. Нельзя сделать вид, будто там не существует металлов, – продолжал он. – На морском дне залежей в шесть-восемь раз больше, чем на суше. На этом стоит зеленая энергетика. Ну брось, будь реалисткой.

– Реальность в том, – отрезала она, – что там, внизу, время другое, жизнь идет медленней. А уничтожить ее можно за секунды. Целая экосистема была – и нет ее; даже в идеальных условиях она будет восстанавливаться тысячелетиями.

Ник, похоже, собирался пожать плечами.

Я уже шла к кухне, на миг задержавшись, когда корабль покачнулся. Это целое искусство: когда накатывает волна, пол становится все более неустойчивым. Пока что я, к счастью, ни разу ничего не уронила и не слегла с морской болезнью. Спустя два часа, проведенных на кухне – в размышлениях о подслушанном разговоре, периодически обдаваемая потоком горячего

воздуха из посудомойки, – я стянула перчатки, бросила их в корзину и медленно двинулась в каюту. Но остановилась на лестнице и, подчиняясь порыву, поднялась вверх – подышать воздухом не из кондиционера.

На палубе оказалось удивительно шумно: стены трепетали и тряслись на ветру. Я с облегчением чувствовала, как прохладный воздух ласкает горячую липкую кожу. Была почти полночь, внутренний свет на корабле притушили. Вода выглядела спокойной – бескрайняя чернота, которая встречалась с широким небом. Я взялась за канат, тянувшийся вдоль борта, скинула обувь, уперлась ногами в стеклокомпозит и осторожно направилась к носу.

Теперь я стояла на самом острие «Индевора», держась за леер и наклонившись вперед, зажмурившись, наслаждаясь свободой и ощущением побега, высоким сводом неба над головой и звездами. И вдруг, словно из ниоткуда, раздался тихий голос; мои глаза распахнулись, я вернулась с небес на землю и подобралась.

– Простите, – сказал он. – Вы, наверное, думали, что здесь одни.

Он стоял в паре метров справа – невысокий, худой, светловолосый, в мешковатой футболке и длинных шортах. Приподнял бровь и нервно улыбнулся.

– Не хотел вас пугать. Вы меня явно не заметили, и я собирался уже уйти, но потом испугался, что вы меня услышите и будет хуже.

Я усмехнулась:

– Не переживайте. Даже удивительно, что на палубе только мы. Здесь же так невероятно.

– Я стараюсь подниматься почаще, но не всегда получается. – Его акцент было трудно определить, вроде бы скандинавский, отрывистый, с примесью восточного побережья США. – Признаю, тут легко забыться. Два виски, пять минут на носу в полночь – и я уже своего имени не помню.

– Могу себе представить.

Теперь, разглядев собеседника получше, я заметила необычно яркие голубые радужки его глаз. И хотя сначала я решила, что он молод – кто-то еще из младших ученых, – теперь увидела, что, вообще-то, он старше меня.

– Сейчас больше нигде не хочется оказаться. Нигде. – Он широко улыбнулся и тряхнул светлыми волосами. – Когда я тут стою, я словно ускользаю. – Он показал на воду. – Она предвосхищает нас, содержит нас, переживет нас. И сейчас мы здесь, с ней. – Он замолчал, и я видела, как он дышит, как под мешковатой футболкой поднимается его узкая грудь. – Впереди, – он снова показал куда-то на воду, – Срединно-Атлантический хребет, сорок тысяч километров в окружности. Кабо-Верде, Азорские острова, Исландия, остров Вознесения. Словами не передать, как важно для меня это путешествие. Надеюсь, вы поймете, что я имею в виду, когда мы прибудем.

Пять

Неделя на борту – и я наконец начала заводить разговоры и больше узнавать об экспедиции. «Индевор» частично финансировался группами, планировавшими бурить морское дно. Может, это и шло вразрез с целью исследований, но не особенно удивляло: участие корпораций-спонсоров всегда скрывалось за мелким шрифтом, а *ISA* уже много лет одобрял съемки морского дна. Что бы мы ни обнаружили, разрешение на работы в ближайшее время никто не выдаст – по крайней мере, я на это надеялась.

Я узнала, что и это не все. Меня изумила и взволновала новость, что идем мы к недавно открытому гидротермальному источнику. НАСА хотело испытать там новые технологии и прислало для этого своего инженера. В столовой я разглядывала пассажиров, пытаюсь сопоставить имена с лицами. На кухне множились слухи. Понятно, что людям вроде Ника нужна любая информация – каких только сокровищ нет в источниках, – но Феликс прибавил, будто и Комис-

сия по ядерному регулированию ищет место, куда можно сбрасывать ядерные отходы. Это уже казалось маловероятным. Но атмосфера царила возбужденная, ритм жизни поменялся, дни стали сливаться. Я даже не успевала задержаться и расспросить, как в такой исследованной местности только сейчас нашли целую глубокую впадину.

Мы набрали скорость, планируя идти на юго-восток семь дней без остановки. Чем дальше мы уходили от островов в синеву, тем реже и реже встречали птиц. По утрам и вечерам я работала на кухне. Готовку мне не доверяли, поэтому я только разносила тарелки, собирала, убирала, мыла. Феликс говаривал, что я «лучше в разрушении, чем в созидании». Я возмущалась, но в чем-то он был прав: сестра постоянно называла меня жуткой неряхой, я не возражала против того, чтобы убирать мусор за другими, – в основном потому, что мне нравилось работать одной. Все мы были учеными – это и свело нас здесь вместе, – но больше всего удовольствия доставляло уединение. Убираясь, я знала, что именно делаю, и могла работать в том ритме, когда думается лучше, когда я успевала поразмыслить, куда мы идем и что можем там найти.

Большинство считает, что жизнь зародилась именно в океанских источниках. В них археи – «древние» – питались метаном и серой, превращая газы в сахара и закладывая основы пищевой цепочки. Археи – маленькие и структурно простые создания, отличные от бактерий; это одни из первых живых организмов, возникшие три-четыре миллиарда лет назад в хаотичную эпоху массовых вулканических извержений. Спустя долгое время произошло нечто еще более радикальное, и археи, объединившись с бактериями, образовали новую клетку, имеющую ядро. От нее и пошла вся многоклеточная жизнь – растения, грибы, животные.

Но археи существуют до сих пор. Их привлекают негостеприимные регионы – ледяные покровы Антарктиды, соляные равнины Чили и Эритреи, – но, пожалуй, самая экзотичная их среда обитания – это наши желудки. Предположительно, они живут в симбиозе с нами и чем-то нам помогают. Никто пока не выяснил чем. Среди прочих странных свойств археи умеют впадать в спячку и пробуждаться спустя десятки тысяч лет.

Впервые я о них узнала в одиннадцать лет, когда у меня только появился интерес к микроскопическому миру. Тогда же продолжались побои Герта. У меня появились боли в животе, и вместо предположения, что это из-за отца – нервное проявление страха, – я представляла себя частью древней истории: меня колонизировали те же странные создания, которые строят биоседиментарные структуры на морском дне. Своего рода эскапизм, бегство от автобиографии. Я и не воображала, что когда-нибудь сама туда отправлюсь.

Целевая область исследований находилась так глубоко, под таким невероятным давлением, что даже простое наблюдение требовало огромной человеческой находчивости. Подводные аппараты стоили дороже самого корабля. Добраться-то туда просто. А вот увидеть и, что самое важное, поднять отснятый материал – дело совсем другое.

В проектировании аппаратов участвовала Эми Делакура, франко-канадская инженер. В нашем разговоре это открылось далеко не сразу, потому что я пыталась увлечь ее своими размышлениями о разведении водорослей в сельском хозяйстве – теме моей докторской диссертации, которая занимала меня все больше и больше. Выпал редкий вечер без дежурства, я не следила, сколько пью, и пользовалась великодушием Эми. Казалось, она помнила все имена, даже наши, а Феликс рассказывал, что она целых сорок пять минут расспрашивала его о диссертации, посвященной инженерным применениям цефалоподов. Может, на самом деле ее все это и не интересовало, но она побывала когда-то в нашем положении – молодого ученого, хватающегося за любые возможности, – а потому сочувствовала, с радостью развлекала нас и приободряла. Как раз закончился золотой час, оставалось три дня до прибытия к нашим координатам, и мы стояли на палубе, наслаждаясь бризом.

Эми была платиновой блондинкой с суровым характером, закаленным многими годами снисхождения – или чего похуже – от коллег-мужчин. Она шесть лет проработала в Лаборатории реактивного движения НАСА – ЛРД, где проектировала исследовательские судна; а значит, была лет на десять старше, чем выглядела. Я испытывала перед ней легкое благоговение, а вот она, быстро потеряв интерес, глядела куда-то мимо меня.

– Что-что ты говорила? – спросила она, пока винный бокал висел в ее пальцах так непринужденно и свободно, что я удивлялась, как она его еще не уронила.

– Да ничего такого.

– Я правда слушала, Ли.

– Да?

– Ага. Знаешь, у нас больше общего, чем ты думаешь. В ближайшем будущем космические агентства начнут чаще запускать космические миссии, и некоторые будут пилотируемыми. А там, наверху, людям надо чем-то питаться. И я сказала бы, что в следующие годы тема хранения и выращивания универсальных, урожайных и питательных культур будет весьма актуальной.

Мои глаза загорелись – раньше я об этом не задумывалась. Я покраснела, как никогда благодарная своему загару, и быстро вернула разговор к подлодкам. Строительство и испытания каждого аппарата обходились в несколько миллионов долларов. Эми видела весь процесс от начала до конца.

– Это экспедиция Стефана, – сказала она. – Я не буду вмешиваться, если он не попросит. Так испытание пройдет чище – ну, ведь в конце концов нашим оборудованием будут пользоваться не инженеры. Но, конечно, я буду рада помочь.

Она добавила, что море – промежуточная стадия для оборудования, которое в конце концов отправится в космос.

– В последние годы начался целый бум финансирования. В области возможного изменилось все. Можно сказать, все крупные космические агентства уже порвали свои графики на следующие двадцать лет. Теперь мы способны лететь дальше. *Намного* дальше. Причем скоро, и это уже вполне реалистичный прогноз. Спутники Сатурна – вполне достижимая цель. Если я тебе скажу, что глубина морей Европы превышает сто шестьдесят километров, то ты поймешь, почему нас так интересуют гидротермальные источники.

Единственные глубоководные аппараты, которые я видела прежде, походили на большие пузыри с люками в верхней части и напоминали космические капсулы из фантастических фильмов.

– Типа водолазных колоколов? Ой, нет, у нас совсем не такие. – Эми рассмеялась, сдувая пряди волос с глаз. – У меня нет опыта работы с пилотируемыми аппаратами – это, боюсь, совсем другая область. Такие нужны, только чтобы покрасоваться. Зачем нам довольствоваться аппаратами, в которые можно посадить человека? Лишь себя ограничивать. Если внутри сидит человек, то рисковать уже нельзя. Люди – мягкая запчасть, их надо оберегать. А самые интересные места – как раз те, где человек существовать не может. Поэтому вполне логично исключить из системы уязвимые части.

– Значит, то, что я видела, не от НАСА.

– Нет! Конечно нет. Когда готовишься к космическим исследованиям, нужен размер как можно меньше, нужно сокращать массу. Первые аппараты, которые отправятся исследовать Европу или Энцелад, скорее всего, будут потомками того, что у нас сейчас упаковано под палубой.

«Сцинтилла», в метр длиной, состояла в основном из плексигласа и стали и могла выдерживать давление большее, чем любой другой морской аппарат. Новое оптическое оборудование, разработанное сербским космонавтом, который увлекся визуальными системами после

своей смены на МКС, позволяло снимать даже в непрозрачной среде. Кроме того, «Сцинтилла» умела собирать образцы воды и ила. Построить это, по словам Эми, было совсем непросто.

Она сделала глоток вина и погрузилась в мысли. Я наблюдала, как она проводит языком по губам, и снова почувствовала, как горит мое лицо.

– Знаешь, там множество парадоксов. Во-первых, надо выбрать, каким должно быть управление – дистанционным или автономным. Первое сделать, понятно, проще и быстрее, и если есть видеотрансляция, то это будет дополнительным преимуществом при передвижении. Но ДУМ³ ограничены своими возможностями, да и не в любое место их можно отправить. На большой глубине они просто отключаются – связь прерывается, а без автономности аппарат просто сидит и ничего не делает. Связь всегда дохнет первой – это, можно сказать, тоже мягкая запчасть. Поэтому ДУМ хороши для неглубоких сред, но в подобной экспедиции толку от них маловато. А уж в стокилометровых морях Европы его и вовсе нет.

– Значит, вы сделали что-то автономное?

– Пытались. Между дистанционным управлением и полной автоматизацией есть разные стадии. Самый простой из эффективных вариантов – эффективных для начала, – это заранее запрограммированный аппарат. Например, можно ему сказать: исследуй морское дно на протяжении ста пятидесяти метров, двигаясь зигзагами.

– То есть это все же не автономия?

– Управляется он извне, удаленно, просто инструкции введены заранее, поэтому не приходится полагаться на ненадежную связь.

– Но чтобы запрограммировать траекторию перемещений, нужна карта места, куда он отправится?

– В этом и парадокс! Но, опять же, мы испытывали эти аппараты на небольшой глубине, и это помогло продвинуться дальше. Позже, при разработке более автономных устройств, мы столкнулись с теми же проблемами. Их центральная система не так уж отличается от той, которая есть у машины с автопилотом; дрессируешь ее на картинках – она учится их распознавать. И снова парадокс: мы можем пытаться воссоздавать условия, которые, как нам *кажется*, там будут, но, пока сам там не побываешь, приходится, по сути, гадать. Не смотри так, Ли. Мы предусмотрели множество средств защиты. Кроме того, есть ДУМ, которые можно применять для помощи или спасения. Но хочешь раскрою маленький секрет?

– Да?

– Никто не верит, что «Сцинтилла» вернется из впадины – не с самой глубины, если она действительно настолько большая, как говорят. По крайней мере, в ЛРД никто не верит. Но я, если честно, не расстраиваюсь. ДУМ и прочая аппаратура извлекут данные. А с небольших глубин «Сцинтилла» вернется – мы будем осторожны. Поэтому, думаю, она в любом случае даст нам интересные образцы и съемки. Но если мы пойдем до предела, доведем ее до самого дна источника, тогда да, я не ставила бы на то, что мы ее еще увидим.

В каютах позади нас выключили свет, небо стало яснее. Я начала замерзать и пожалела, что не вышла в свитере.

– Сейчас главный вопрос не в том, как добраться до спутников, а в том, какими аппаратами мы будем пользоваться по прибытии. Вот почему нужно угадать с первого раза. Насколько я понимаю, с нынешним прогрессом в строении двигателей полет на средние расстояния – вопрос решенный.

– Под «средними расстояниями» ты имеешь в виду...

– Я имею в виду – в пределах Солнечной системы. Из нее мы выберемся еще не скоро.

– Значит, все это, – я кивнула за перила, – тебе не так уж интересно? То, что в глубине? Для тебя это просто испытания? Репетиция перед космосом?

³ ДУМ – дистанционно-управляемые машины.

– О, а почему не может быть и то и другое? Мне интересно все – и как иначе? – но в прежде всего, конечно, наш первый прогон.

– А Ник? – Я кивнула в сторону австралийца, который громко разглагольствовал на другой стороне палубы. – Его, предположительно, интересуют внеземные минералы. И он хочет посмотреть, как работает «Сцинтилла»?

– Думаю, ты сама знаешь ответ.

Шесть

Стараясь познакомиться с Эми поближе, я не чувствовала, будто втираюсь в доверие или действую особенно цинично. Мне она нравилась, нравилось с ней общаться, а если в будущем она помогла бы мне с карьерой, то это стало бы приятным бонусом. При ее занятости я ей не очень мешала; я старалась не перегнуть палку и знала: если начну ее раздражать, то она отмахнется от меня без зазрения совести. Мы с Феликсом подозревали, что ей даже нравится роль наставницы, и на этом можно сыграть так, чтобы и ей польстить, и для себя извлечь выгоду. Как мы и предполагали, многие годы она провела на подсобной работе и быстро – даже слишком – замечала, если нас третировали другие пассажиры.

Мы находились в долгом пути от Карибских островов до середины Атлантического океана: нерушимая синева, где огни большого контейнеровоза по ночам – событие; где мы высматривали на горизонте фонтанчики; где дельфины плыли рядом, подстраиваясь под нашу скорость; где выскакивали, описывая в воздухе широкие дуги и заставляя нас врасплох, ослепительные, по-стеклянному прозрачные рыбки. Больше недели назад мы покинули сушу, только мигрирующие полярные крачки носились над головами, и я наконец ощутила, что вошла в корабельный ритм. Каждое утро расставляла посуду к завтраку. Потом убирала со столов, все мыла и переходила на закрепленную за мной палубу, мыла туалеты и душевые, каждый третий день приносила в каюты свежее белье. Во второй половине дня – отдых: я дремала, читала, перекусывала, сидела на палубе, дежурила у камер на треножниках, установленных на носу и корме. К ужину, который начинался в семь, готовились с пяти. Сам персонал мог ужинать и в полдесятого – десять. Мы с Феликсом, закончив уборку, обычно ели вместе уже после остальных.

Забавно, как кажется, будто на таком сравнительно маленьком корабле постоянно видишь одни и те же лица. По негласному правилу в столовой все занимали места, выбранные изначально, поэтому я запомнила тех, кого обслуживала за своими столами, и то и дело натыкалась на них в коридорах и на палубе. Я все еще не общалась и с половиной людей – и уже сомневалась, будто что-то изменится. Мы словно собрались в небольшие неофициальные кружки и продолжали держаться «своих». В действительности я не сталкивалась с Эми постоянно – просто обращала на нее внимание больше, чем на остальных. Запомнить больше восьми-девяти человек за раз мне казалось слишком сложным, поэтому я держала в уме лишь тех, кого уже знала, а незнакомцам, которых то и дело встречала будто впервые, машинально кивала, удивляясь их способности оставаться невидимыми.

Обычно при знакомстве я говорила, что изучаю водоросли, но мы все-таки находились не на суше, и на корабле не было обычных людей, поэтому далее я поясняла, что водоросли – термин обманчивый, охватывающий огромное количество самых разных организмов, от гигантских лесов до пляжных и даже до отдельных одноклеточных цианобактерий, многие из которых родственны друг с другом не более, чем с нами. Потом я добавляла что-нибудь насчет огромного сельскохозяйственного потенциала водорослей – о том, что его частично касается моя диссертация и что этим я хотела бы заниматься в жизни, если позволит финансирование.

Познакомившись наконец со Стефаном, руководителем «Индевора», я, к своему удивлению, обнаружила, что мы уже встречались – три ночи назад, на носу. Он смущенно улыбнулся,

и вновь я заметила почти невозможную голубизну его глаз. Он спросил, перебивая шум двигателей и ветра:

– Почему именно водоросли?

И то ли из-за его собственной честности три дня назад, то ли просто раскрепощенная нескончаемо экстремальной жизнью на корабле, но я вдруг обнаружила, что действительно над этим задумываюсь, а потом услышала с некоторым изумлением, как открываю рот и говорю:

– Потому что благодаря им мы дышим.

Стефану ответ понравился. Он довольно кивнул, мы поговорили об этом и об экспедиции. Я быстро поняла, как легко с ним общаться, как с ним меня ничего не сдерживает, – может, мы даже наладили особую связь. Ему как будто нравилась моя непочтительность. «Естественное следствие того, что ты застала меня в самый уязвимый момент», – пошутил он с каменным лицом, имея в виду свой детский восторг в нашу первую встречу; вдобавок нас объединяла не самая обычная страсть, а даже скорее, одержимость – морская микробиология. Для нас обоих это была не работа, а вся жизнь.

Новости пришли только три месяца назад, так что готовиться пришлось очень быстро. Не столько из-за интереса, сколько из-за волнения, неуверенности. Никто не понял, *что* это. Первым это обнаружила телекоммуникационная компания, когда прокладывала оптоволокно по дну Атлантического океана в апреле; внезапно все оборвалось. Они потеряли кабель, программа застопорилась. Вместо того чтобы отправлять ныряльщиков – слишком дорого, слишком трудоемко, да и, вероятно, слишком глубоко, – исследователи арендовали спутник для нового определения глубины. Пришел результат: двенадцать километров, глубже любой впадины в мире. И это, конечно, невозможно – Атлантический океан исследован вдоль и поперек. Предыдущие съемки показывали глубину в три-четыре километра. Три года назад здесь наблюдалась тектоническая активность, но не в таких масштабах, чтобы образовалась настолько большая впадина. Этот источник должен был существовать и раньше – так почему его никто не заметил?

– Это невозможно, – сказала я. – Наверняка какая-то ошибка.

– Они пытались работать традиционными методами, – пояснил Стефан, когда мы снова вышли на палубу, – но все их инструменты пропали.

– *Пропали?*

К этому времени я уже была уверена, что радужки ненастоящие, Стефан носит цветные линзы.

– ВТО объявила об изменении торговых маршрутов, наложила эмбарго на эту область. Мера предосторожности. И довольно дорогостоящая, как сама понимаешь.

– Вот почему все так быстро происходит.

– Каждый новый день эмбарго – финансовая катастрофа. Они ждут от нас результатов, чтобы вернуть торговлю на прежний маршрут и в дальнейшем делать вид, будто ничего не случилось.

– Но в то же время это возможность для добывающих компаний.

– Да, – согласился Стефан. – И для нас.

В основном же мы обсуждали свои исследовательские интересы. Приходилось постоянно напоминать себе, что у нас диаметрально противоположные положения: я в самом низу пищевой цепочки, Стефан – руководитель экспедиции. Но со мной он говорил как с равной. Стараясь не навязываться, расспрашивал, что привело меня в морскую науку. Я пыталась отвечать так же аккуратно, взвешивать слова и не болтать о том, о чем потом пожалею.

– А у тебя есть теория, объясняющая эти двенадцать километров, если результат окажется не ошибочным? – спросила я.

Стефан улыбнулся; упираясь ногами в стеклопластик, он держался одной рукой за перила.

– Вообще-то есть. Я считаю, что расщелина появилась, когда осел необычно толстый минеральный слой, блокировавший сонары и радары. Это объясняет ранние результаты в три-четыре километра.

– Типа второго дна?

– Да. Конечно, оседание должно быть крупным, но теоретически это возможно.

– И для этого хватило бы недавних землетрясений?

– Именно. Вся заковыка в том, почему другие известные источники не заблокированы так же.

– А может, заблокированы.

– Не понял?

– Ну, большинство. А мы нашли только те, где провалилось «второе дно».

– А что, возможно. Я и не задумывался. Впрочем, надеюсь, скоро узнаем.

В разговоре возникла пауза, и мне показалось, что Стефан хочет что-то сказать, но почему-то сдерживается. Мы молча смотрели на ночную воду, на несущееся навстречу море.

– Я думаю, – произнес он наконец, по-прежнему глядя вперед, – что жизнь на Земле уже экзотичнее – и намного экзотичнее, – чем мы представляем. Наверное, трудно осознать эту идею. И уж точно трудно оценить по достоинству. Думаю, это бессилие перед природой у нас с тобой общее.

– Да. Думаю, да. Именно поэтому я каждый день просыпаюсь и иду в лабораторию – хочу оценить эту экзотичность по достоинству.

– Знаю, что сам это сказал, но все-таки: что это значит для тебя – оценить по достоинству? Что под этим имеешь в виду ты?

Я ненадолго задумалась, прислушиваясь к движению корабля.

– Я имею в виду, что хочу исследовать эту экзотичность так досконально, как только умею, и увидеть в ней себя.

– Да, – быстро согласился он.

– Я не хочу считать эту экзотичность чем-то посторонним. Я хочу ее принять. Чем меня среди прочего так увлек океан – по-настоящему увлек, я помню это очень ярко, – так это пониманием, что в нем и так уже есть все. Как ты сам говорил: в нем до сих пор находится строительный материал для организма – любого организма, любого живого существа.

– Организма до того, как он возник, – добавил Стефан.

– Проблема, наверное, в моем детстве, заторможенном развитии или в чем-то еще, но я просто не могу назвать это чем-то банальным и жить себе дальше. Как можно об этом не задумываться? Как это у людей вообще получается?

– Поэтому тебя интересует развитие клеток?

– Клетка – это, по сути, океан в капсуле. Сохраненная первобытная капсула, в которой хранится изначальная морская среда. Это... это же с ума сойти как невероятно, нет? Как бы нас можно называть и людьми, и ходячими коллажами океана. Я не готова так просто закрыть на это глаза.

Стефан тихо усмехнулся:

– Вот что мы сейчас слышим, когда оно плещется под кораблем. Это заблуждение, будто наше происхождение – происхождение любых видов – осталось в прошлом. А оно все еще здесь.

– И я хочу знать, что прячется в той расщелине, как глубоко она уходит.

Стефан посмотрел вперед, потом на свои часы.

– Ну, мы подойдем к зоне эмбарго через двадцать восемь часов.

Семь

Я не могла уснуть всю ночь. Когда двигатели заглохли, тишина оглушила. Все стало четким и ясным. Темная вода – необычно спокойной, ни барашка. Я обошла палубу по периметру, слушая, как поскрипывает корабль. «Индевор» теперь казался меньше, уязвимее; болтался и дрейфовал в спокойной воде – мы словно вернулись в стародавнюю эпоху, пересекли океан, не представляя, что найдем на другой стороне.

Долго эта тишина не продлилась. Спустя минуты экипаж уже топал мимо меня по стеклокомпозиту, перекрикиваясь на русском. Я попятилась, зашла в стальную дверь и чуть не врезалась в Стефана. Он даже не остановился, увернулся с ворохом распечаток. Окликнул Карлссона, тот что-то гаркнул в ответ. Занимался рассвет, в коридорах гасли электрические лампы, и я неуверенно спустилась на кухню – пора было накрывать шведский стол. Хотелось остаться на палубе, где происходило все самое интересное, а не торчать внутри, наливая молоко в хлопья или фруктовый сок в стаканы.

Теперь, согласно собранию прошлого вечера, приоритетом стало нащупать края расщелины. Методы были проверены тысячелетиями. Я слышала глухой стук лодок «Зодиак», спускаемых на тросах, а затем и первые моторы – выезжали команды, вооруженные катушками с лотлиниями. На каждой из четырех лодок уже медленно раскручивали тросы, чтобы замерить глубину, на которой лот коснется дна. Бухт хватало на четыре с половиной километра – достаточно, чтобы «нащупать» неожиданный провал. Так команды определяют края расщелины и зарисуют ее форму. Методика, конечно, трудоемкая и грубоватая, к тому же существовал риск, что лот остановится прежде, чем уйдет на истинную глубину, но на сравнительно небольших глубинах она считалась довольно надежной.

В это время Эми проверяла напоследок «Сцинтиллу». Я заметила, как она сидит в коридоре в шортах и рубашке с коротким рукавом, волосы собраны в высокий узел, пальцы мелькают над клавиатурой ноутбука. Казалось, она находится в своей стихии, и я наблюдала бы за ней бесконечно, если бы не обязанности по кухне. Я до сих пор толком не видела «Сцинтиллу» и решила попросить Эми показать аппарат до первого спуска.

Позже «Сцинтилла» измерит глубину сонаром и радаром. А пока дайверы измеряли температуру воды, соленость и кислотность, чтобы правильно настроить аппарат. Сонар – штука ненадежная, но, по словам Эми, ошибки можно сократить, если откалибровать его с учетом характеристик воды. Что там живет, что ее составляет, каковы ее свойства. Мало просто принять скорость звука за стандартные тысяча пятьсот метров в секунду, потому что в разных условиях она меняется, а в океане каждый закоулок уникален. Поэтому, чтобы получить достоверную глубину, нужно заранее досконально знать место. Снова парадокс. Как правило, нельзя узнать ничего особенно нового – прогресс с самого начала ограничен инерцией, неспособностью разглядеть что-то за пределами нашего воображения. Короче говоря, мир можно увидеть только таким, каким уже его знаешь.

– Если в расщелине и существует что-то необыкновенное, – говорила я Феликсу, когда мы возвращались на палубу, – то нет никаких гарантий, что мы это поймем. Даже если оно проплывет у нас перед носом.

Об этом я и размышляла, ожидая на палубе и глядя на развернувшуюся кипучую деятельность. Спрашивала себя, что успела упустить в собственной жизни просто из-за ограниченный своего характера. Если мы слепы ко всему, что может быть целой новой категорией, то и наши отдельные истории – не больше чем череда встреч по касательной с невыразимыми чудесами; и такой вывод казался правильным. Жизнь – это нескончаемые и неудачные попытки что-то понять. Мы приближаемся и тут же снова сворачиваем в сторону, уловив эту безымян-

ную категорию, эту музыку, что доносится издали, из-за череды дверей, – глухой и гулкий бас, звук, омывающий тело.

Далекое жужжание, темное пятнышко на чистом горизонте – один из «Зодиakov» возвращался раньше времени. Я оттолкнулась от перил и двинулась по периметру; шум двигателя становился то тише, то громче в зависимости от препятствий между нами – спасательных плотов, оснастки, аварийного оборудования.

С лодки доносились голоса, перекрикивающие шум мотора. Я различила Карлссона – его густые волнистые светлые волосы узнавались на фоне черного планширя. Он был уже совсем близко, размахивал руками и кричал что-то Стефану – я не могла разобрать что. Кто-то с лодки бросил трос к «Индевору». Карлссон поднимал на борт оборудование для измерения глубины – что странно, ведь им еще предстояло обследовать новые участки. Я подкралась бочком и увидела, что он передавал не катушку с лотлинем, а сонарное устройство. Стефан подтягивал трос со строгим и встревоженным выражением на лице. И тут я все поняла. Карлссон не стал зарисовывать края расщелины; его команда отправилась напрямик в центр – предположительный центр, где-то за горизонтом. Без разрешения, не по плану. Отсюда и крики, и досада Стефана.

– Тридцать шесть! – орал Карлссон все громче и ближе, только это число, наконец выкрикнув его вопросительно, с ударением на последнем слоге. По изумлению на его лице я наконец догадалась, что это значит. Почувствовала, как число ударилось в меня и прошло навывлет, оставив глубокое отверстие – я стала хрупкой в середине. Тридцать шесть – это глубина. Тридцать шесть километров. В три раза глубже Марианской впадины.

Восемь

Команды работали медленно и методично: закрепляли линии на назначенных точках, следили, чтобы спуск был размеренным, продвигались по линии вперед на пятьдесят метров, подтверждали результат, начинали весь процесс заново в следующей точке. Таким образом форма впадины постепенно определялась. Они работали под зонтами от солнца, но лица все равно обгорели. Когда солнце было в зените, люди вернулись на «Индевор», заправились яичницей с беконом и черным чаем, поспали и отправились обратно. Не останавливались даже после заката, предпочитая работать в прохладе и в тишине под звездами, спали по сменам до рассвета. Наконец четыре «Зодиака» двинулись друг навстречу другу, что говорило о скором окончании, замыкании окружности.

По мере поступления данных Стефан очерчивал впадину на доске в аудитории. Я бегала между палубой и аудиторией, между океаном и его изображением, и видела, как все отчетливее проявлялась приблизительная картина. Форма – примерно овальная. «Овал Кассини», – так сказал Стефан. Пока команды заканчивали описывать необычно большой периметр, волнение постепенно улеглось, сменившись тревогой. Мы встали на самом краю, и наш корабль, покачивающийся на спокойной воде, казался меньше, беспомощнее, чем раньше. Меня вдруг поразила мысль: мы ведь почти ничего не знаем об этом месте, нам может грозить какая-то опасность, а мы безрассудно на нее напрашиваемся.

Никто не мог объяснить данные Карлссона, снятые в восемнадцати километрах от края, то есть даже не в центре расщелины, где глубина должна быть наибольшей. Очевидно, это какая-то ошибка; вода здесь необычная, вот и задерживает эхо звуковых волн, а значит, сонар бесполезен в принципе. Во время обеда я пользовалась своей невидимостью, юркая между столами и кухней, и наблюдала, как обычно приглушенные разговоры перемежаются всплесками энергичных догадок. Ник сказал, что, по опыту его фирмы, в районе гидротермальных источников обнаруживаются никель, кобальт, железо и марганец. «Не могут ли химические вещества и минералы исказить сигнал сонара?» – спросил он у Эми. Та пожала плечами. Хотя бы начало теории, рациональное объяснение сбоя, но наши нервы это не то чтобы успокаивало.

Форма и масштабы впадины вызвали немало разговоров. Разве природный процесс мог привести к такому? Особенно взбудоражился Стефан. Убрав на столах, я поднялась на палубу и увидела там его с Эми; он поманил меня. Его зрачки расширились от всплеска адреналина.

– Ли, это чудесно! – На жуткую секунду показалось, что он меня сейчас обнимет. – Что за невероятное открытие! – воскликнул он, напугав людей у другого борта.

– Да, да! – смеялась я.

– Это же меняет все! Это революция в клеточной теории. У меня столько вопросов! Какая глубина на самом деле? Что там? И насколько это место редкое? Вдруг есть целый класс «суперисточников», которые мы еще не открыли, или мы наткнулись на действительно исключительное явление? Нам почти ничего не известно о подобных глубинах, и я все думаю: а что, если это остатки *действительно* древнего события? Наследие невероятного катаклизма, произошедшего миллионы, даже миллиарды лет назад? Вдруг мы нашли, по сути, самое важное место в истории жизни нашей планеты? Колыбель, Эдемский сад?

– Господи, Стефан, – не выдержала я. Я не знала, что ответить на эту скоропалительную теорию. Так просто все не осмыслить. Но пока меня несло по течению его идей, Эми твердо стояла на земле.

– Это не может быть местом падения гигантского метеорита, если ты это имеешь в виду, – сказала она. – Иначе мы бы увидели примесь иридия в характеристиках, а ничего подобного, по нашим результатам, нет.

Стефан нетерпеливо отмахнулся от ее скептицизма.

– Ли, – обратился он ко мне. – Что думаешь ты?

– Я согласна, – ответила я, – это очень здорово. Но я пока не знаю, что и думать, все-таки мы еще не составили карту глубин, не проанализировали образцы.

– Да ладно тебе! Можно же пофантазировать?

– Ну, я сомневаюсь насчет астероидов и метеоритов...

Он ответил удивленным, а то и уязвленным взглядом.

– И позволь поинтересоваться: почему?

– По моему опыту, когда люди ищут причины в астрономии, они только отталкивают ответ. Это все равно что пожать плечами и сдаться.

– И... где же ты это видела?

– Ну, ты сам говоришь о первой жизни – возьмем панспермию⁴. Это же просто... ну, теория без воображения, понимаешь?

– Хочешь сказать, у меня нет воображения, Ли?

– Да нет! Я хочу сказать, его нет у тех, кто придумал панспермию. Она скучная. Почему всем хочется верить, будто жизнь прилетела откуда-то извне? Почему на этом настаивают? Что в этом такого романтического? Почему жизнь не могла зародиться прямо здесь? Как мы обсуждали тем вечером, Стефан: жизнь и так уже экзотичная, и так уже необъятная и причудливая – и ни к чему добавлять ей экзотичности и говорить, будто она прибыла на метеорите.

Он улыбнулся:

– Значит, просто закроем глаза на тяжелую бомбардировку? Потенциальный инкубационный эффект разрытой почвы? Да ты ничем не лучше ее, – показал он на Эми. – Ну ладно, давайте согласимся, что исследовать, возможно, самую глубокую расщелину в мире – это хотя бы интересно?

Стефан рвался в бой. Метался по кораблю, босые ноги легко ступали по коридорам и согретой солнцем палубе. Его глаза, их яркая синева, роднили его с водой, притягивали мое внимание, и, когда мы вдвоем стояли снаружи, я то и дело переводила взгляд с океана на его

⁴ Панспермия – гипотеза о том, что живые организмы или их зародыши были занесены на Землю через космическое пространство (с метеоритами, астероидами, кометами либо с космическими аппаратами).

лицо и обратно. Он вдруг словно помолодел. Порой, слушая его, наблюдая, как он размахивает руками, я замечала в его поведении признаки мании. Может, и ошибалась. Может, так выглядело счастье. Он был счастлив, что полная ответственность за все решения лежит на нем – разумеется, после консультаций. Это он заявил: вместо того чтобы ждать, когда «Зодиак» обойдут периметр и только тогда отправятся к середине впадины, мы должны уже сейчас завести двигатели «Индевора», пересечь край, прийти к центру и обследовать ее с борта корабля. Другие возражали. Удивительно, с каким отпором люди встретили его предложение. Они не хотели отправлять туда «Индевор» преждевременно.

Стефан поднял вопрос в аудитории. Жужжал кондиционер, наша масса тел закрывала окна. Образовалось два лагеря. Одни, по примеру Стефана, хотели перейти черту. Другие, во главе с Ником, настаивали на осторожности: составление карты закончено на восемьдесят пять процентов, лодки вернутся через день-два, и логично сперва отправить на разведывательную миссию их. Кое-кому из нас эта позиция казалась мелодраматичной. Мы с Феликсом спорили часами, переходя из аудитории в бар на палубе, где в сгущающейся темноте необычно сильный ветер хлопал парусами и шумел, будто била крыльями большая птица. Я не удержалась и поддела Феликса:

– Думаешь, мы в опасности? Боишься, что корабль засосет на дно океана?

– Нет, Ли, – ответил он спокойно. – Я не думаю, что нас засосет. Я не думаю, что так здесь думает хоть один человек.

– А я не уверена. Мне кажется, многие испугались. Может, они и не верят в карлссоновские тридцать шесть километров, но они волнуются из-за того, что вызвало сбой. И предпочитают держаться подальше, засылая только небольшие команды. Не желают лезть туда сами.

– Или просто знают, что сейчас у нас хорошее положение? Мы многое уже понимаем. Мы знаем глубину. Мы откалибровали сонар, и его данные совпадают с теми, что дает лотлинь. Здесь мы на твердой почве, так зачем что-то менять?

Карлссон, как ни удивительно, высказался за осторожный подход. Учитывая характерный для него напор, я думала, что он возглавит штурм, но он вел себя спокойно, сдержанно и тихо заявил, что лучше подождать. Вернувшись тогда от впадины, он выглядел странно: ошарашенный, обожженный, с бешеным взглядом. Но решение в конечном счете оставалось за Стефаном, и после дебатов в аудитории и долгих совещаний с Эми, Карлссоном и Ником в рубке он объявил по внутренней связи, что теперь, когда осмотр периметра практически завершен, мы переходим к следующему этапу. В полночь мы заведем двигатели и пересечем черту. Остановимся приблизительно через восемнадцать километров от края впадины – там, где проводил свой замер Карлссон, – и начнем тщательное исследование центральной области.

Когда пол вздрогнул, а двигатели снова с лязгом завелись, я схватилась за раму койки и подумала, как же просто было бы оставаться на месте, никуда уже не плыть. Я жаждала движения – сама его отстаивала, – но теперь, когда мы стронулись, у меня сперло дыхание, засосало под ложечкой от неуверенности. Это ведь вовсе не обязательно. Еще не поздно передумать и вернуться.

Мы медленно продвигались вперед. Несмотря на кажущуюся неподвижность, все последние дни мы не стояли на одном месте, течение неумолимо нас относило. Мы с Феликсом вышли из каюты, поднялись – и обнаружили на палубе такую толпу, какую еще ни разу не видели за время путешествия. Почти все пассажиры не просто высыпали наружу и собрались у перил и смотрели вперед – они и выглядели иначе, серьезнее. Что-то их изменило.

– Приоделись, – обратил мое внимание Феликс, но остальные его слова потонули в шуме двигателей.

И в самом деле: большинство пассажиров были одеты официально. Я даже не сразу узнала Карлссона: длинные брюки, зализанные назад волосы. Словно прихожане на свадьбе

в церкви. Люди выпивали, слышался смех, на флютах и бокалах бликовал свет. Атмосфера казалась натянутой. Феликс вынул из ведерка со льдом пару бутылок пива, и мы протолкались к краю, вызывая недовольные взгляды и неодобрение тех, кто был вдвое нас старше.

– Сколько еще? – спросила я.

– Четыре минуты, – ответила женщина, стоявшая рядом.

С каждой минутой звон бокалов и смех становились тише, и наконец остался только шум двигателей «Индевоора» и плеск воды. 23:57. Люди высоко подняли головы. Они хотели пересечь черту в лучшем виде. Они нервничали и переживали, как и я, и вместо того, чтобы отсиживаться в каюте или, приняв снотворное, все проспять, а потом проснуться в той же спокойной синеве и делать вид, будто ничего не изменилось, будто они все еще в безопасности, они вышли, чтобы встретить неизвестность лицом к лицу, обретая уверенность в церемониале. Поэтому они пели, и пили, и вели сентиментальные беседы, одевшись как на религиозное собрание. Взяли себя в руки, словно могли защититься от неизвестного, сообщая отразить его.

– Десять, – раздался голос – высокий, дрожащий, робкий.

– Девять, – подхватил Стефан уже увереннее.

– Восемь... – И голоса слились в хор.

Девять

Ощущения не изменились. Но и в воду еще никто не погружался; я этого не заметила, пока Феликс не сказал, когда мы накрывали к завтраку. Чем больше мы тянули, тем сильнее ощущалась стигма. Удивительно, как быстро команду опытных профессионалов охватывает суеверие. Поразительное зрелище. Какие бы разумные доводы они ни приводили – повышенный уровень содержания алюминия, возможные токсичные отходы, минеральные примеси, – в их основе лежал простой, древний, элементарный страх. И дело не только в том, что местность под нами была неведомой, но и в том, что она нам сопротивлялась. Измерения ничего не давали. Загадка раз за разом не подпускала к себе. Очень быстро – может, с самого начала, уже на первой теории о провалившемся минеральном слое, – люди наделили впадину волей, целью. Что бы это ни было, за ночь оно вновь оттолкнуло «Индевор».

Стефан бросил клич в поисках добровольцев. Формально для погружения повода не было – сразу по прибытии Эми опустила фотоловушки, – а значит, он наверняка просто хотел разрушить чары. Стефан собирался спуститься сам. Предлагал другим присоединиться к нему в первой команде. Мы набились в аудиторию, где вдруг стало очень тихо. Я огляделась и не увидела ни одной поднятой руки.

– Я пойду, – сказала я. – Я готова.

Стефан встретился со мной взглядом и твердо кивнул.

– Спасибо, Ли. Кто-нибудь еще?

Карлссон, опустив голову, держался позади, у стенки. Раздались другие голоса, в том числе голос Эми, и команда быстро набралась.

Будильник поднял меня еще затемно. Я на ощупь пробралась в туалет, а потом в кладовую на верхней палубе, где хранились гидрокостюмы и все снаряжение. В иллюминаторе забрезжил первый свет. Когда я присоединилась к остальным на палубе, часы показывали 5:30, в воздухе разливалась последняя тьма – зыбкого цвета индиго, как во сне. Ветер усилился и поднял высокие волны. Пришлось держаться за перила, чтобы устоять на ногах. Я дрожала в этом новом воздухе. Впервые за многие дни на палубе не было тепло.

Эми посмотрела на меня.

– Ты как?

Я не призналась, что проворочалась полночи, терзаемая повторяющимися, циклическими мыслями.

– Ничего, – ответила я. – Отправиться бы уже.

«Зодиак» болтался на волнах, привязанный тросом. Стефан забрался в лодку первым. Один за другим мы сбросили туда свое снаряжение и, спустившись по лестнице, присоединились к нему.

На «Зодиак» мы подошли к точке Карлссона. За ночь «Индевор» снова снесло на сотни метров к границе впадины. И значит, другие пассажиры не увидят, как мы уйдем под воду. А ведь даже такая мелочь могла иметь значение: мы отправились сюда на рассвете второго дня, чтобы продемонстрировать бесстрашие, развеять суеверия. Если спускаться без зрителей, то эффект ослабнет.

Стефан завел мотор, увеличил скорость, и мы заскользили, подпрыгивая, по бурному океану. Небо загоралось, мы шли на восток – словно прямо в огромное красное солнце на горизонте. В это мгновение, забыв обо всех дурных предчувствиях, я испытывала только невероятное счастье оттого, что нахожусь здесь. Стефан замедлил ход, потом Эми что-то глянула в своем телефоне и кивнула; двигатель остановился.

Мы проверили уровень кислорода, надели ласты и маски. Я натянула гидрокостюм, шапочка на голове села плотно, ткань облепила кончики пальцев. Материал оказался тоньше того, к которому я привыкла, – будто вторая кожа. Эми привезла эти костюмы из ЛРД; их рекомендовали использовать для погружений в «неисследованных областях», и я тут же задумалась о том, где их тестировали.

Стефан пошел первым. Похлопал меня по плечу.

– Все будет хорошо. Тебе понравится.

Он сел на край планширя, поднял большие пальцы, кивнул и опрокинулся назад. Краткий всплеск – и тишина. Следующая – Эми, потом – Эрик и Урсула. Лодка покачивалась на волнах, я осталась в ней одна. Все пропали. Шум, разговоры ни о чем, четыре тела в черных костюмах – ничего не осталось. Я приблизилась к краю и, хоть зрителей у меня не было, все равно подняла большие пальцы, как остальные, и упала спиной за борт.

Я вскочила – задыхаясь, вспотев, с заходящимся сердцем, вцепившись в металлическую раму койки. Очередной кошмар: кувырок назад, свободное падение, все быстрее и быстрее в жар, свет и шум, в пламя земного ядра. Уже вторую или третью ночь я видела такие сны. Простыни вымокали от пота. Я опустила ноги на пол и ухватилась за койку, чтобы не свалиться. Уши болели, вестибулярный аппарат сбоил. Я медленно двинулась в туалет.

В первую ночь после погружения я была как в бреду. Проспала целый день; потом Феликс увидел, что моя койка пустая, пошел меня искать и нашел с остекленевшим взглядом у перил – с таким видом, словно я готова вернуться в воду. Феликс не понимал, что я говорю. Меня осмотрел доктор Андерсон: либо солнечный удар, либо пищевое отравление, либо и то и другое. На кессонную болезнь не походило, но для предосторожности он продолжал наблюдать. Дал мне таблетки, которые я проглотила, не читая этикетку. Собравшись с силами, я пробормотала, будто у меня единственной на корабле зеленое лицо. Андерсон нахмурился, а я, открыв глаза, обнаружила себя снова в каюте, в койке, в потемках.

До сих пор я не могла вспомнить все. Когда я провалилась с «Зодиака» спиной в воду, она меня окутала – удивительно нейтральная среда: ни запаха, ни температуры; поскольку костюм обтягивал меня до кончиков пальцев, тело не зарегистрировало вообще ничего. Я оставалась нетронутой. Миг некой гиперреальности. Казалось, что костюма на мне нет, что океан на меня никак не влияет, а потому мозг решил, будто я не в воде, просто вижу себя в фильме или во сне. Погруженная в воду и при этом отгороженная от нее, я должна была принять на веру, что я и правда в ней. Я смотрела отстраненно, через объектив. Необыкновенный опыт, с примесью

той яркой нереальности, которую я ощущала в детстве в моменты шока. Я была там и одновременно не была. Я плыла в фотической зоне⁵ и одновременно оглядывалась на себя из какой-то неведомой, неопределенной точки в будущем.

Я погрузилась где-то через семьдесят секунд после Урсулы, но даже в такой прозрачной воде не видела никого. Надо мной тень «Зодиака». Казалось, я слышала двигатели «Индевора», от которого меня отделяла пара километров. Только тогда я начала ощущать – по-настоящему, самым нутром – глубину.

Я находилась как будто на равном расстоянии от дна и от неба: дно внизу так же далеко, как самолеты над головой. И это осознание пронизало до самого мозга костей. Я подвигала руками, чтобы почувствовать свою плавучесть и убедить себя в ней – будто мера предосторожности, чтобы не упасть, – и вдруг мне показалось, словно я поплыла по небу. Пространство подо мной распахнулось, фотический слой стал ярче, светлее, пучины озарились, будто стеклянные. Я представляла, что видела все глубже и глубже, до самого ядра, наблюдала, как раскрывается земная кора, как горит огнем обнаженная мантия, расширяется и втягивает все в себя, больше и больше, завихряется, всасывает, закручивает меня; как меня влечет непреодолимая сила Земли, дна, архей – будто инстинкт смерти, зовущий туда, где все началось.

Я сделала глоток кислорода, размяла мышцы, велела себе расслабиться – ведь я делала это уже тысячу раз. И тут случилось что-то странное: мне стало легко, вольготно. Я не двигалась – меня несло. Мой голос стих и отдавался эхом все дальше и дальше. Темный силуэт ныряльщика медленно кружился, опускаясь, и в конце концов исчез. Это исчезновение меня успокоило. Все замерло в идеальной неподвижности и покое. Сердце билось размереннее, я больше не слышала свое дыхание. Я растворилась в обширном, необъятном тепле, в обволакивающей среде. Вдруг океан засиял красками, навстречу хлынула жизнь: разжалась лилово-желтая морская лилия, вытолкнув струю воды; заколыхались кольчатые черви с красными концами, будто пшеничные колосья, потревоженные легким ветерком, будто нейроны, взбудораженные пронесшейся мыслью; сияли и пульсировали лучи биосвета, когда очертания животных вспыхивали в упоительном общении и снова исчезали во тьме; неподвижно висели в пустоте прозрачные цефалоподы; бактериальные симбионты впитывали и питали все; архей внизу, в сердце всего, ползали, синтезировали, тянули назад, невыразимое возвращение...

Ослепительный солнечный свет. Я внезапно срываю маску, бешено хватаю кислород, задыхаясь и вскрикивая. Дрейфую, болтаюсь на глади, как морская звезда. Небо и море – одинаковый ультрамарин. Ощущение, будто пребываешь на большой высоте, что-то превосходишь, приближаясь к чему-то безграничному. Захлестывают слезы, смех и соленая вода. Накрывает огромное, невыразимое счастье – и все до единого воспоминания сразу. «Зодиак» пропал. Остальные дайверы пропали. Покой, тишина. Потом – силуэт «Индевора» – маленький-маленький, едва различимый. Он все меньше, все дальше. Накатывание волны, игра света.

Я сделала вдох и поплыла, напрягая руки и ноги с каждым гребком, корабль оставался неизменным, расстояние между нами не менялось. Я нахлебалась воды, отчаянно толкаясь вперед, легкие горели. Наконец очертания «Индевора» проступили четче. Добравшись, я зависла на поверхности, мягко покачиваясь на волнах. Даже вблизи корабль выглядел иначе, был словно двухмерным, нарисованным на воде. Не верилось, что мы в нем жили. Вокруг болтались несколько фигур – Стефан и остальные дайверы. Они лежали, опутив лица в воду, завороченные, раскинув конечности, как звезды.

Поднимающееся солнце обжигало макушку, сеяло ростки головной боли. Руки покалывало, желудок выворачивало наизнанку. Я толкнулась к лестнице на левом борту, сначала не смогла зацепиться, потом схватилась и подтянулась. Вывалилась на палубу, провела руками по волосам, дрожа от восторга. Было невероятно снова стоять на ногах, чувствовать давление

⁵ Фотическая зона – освещаемая солнцем верхняя толща воды, в которой происходит фотосинтез.

своего веса на твердую поверхность. Снова мир. Желудок крутило, перенастраивало, голова плыла от легкости.

– Все хорошо? – окликнул Феликс рассеянно, поливая палубу из шланга.

Я кивнула, прищурилась, глядя на корабельные часы – с моего погружения прошло сто сорок минут. Что там со мной случилось? Как глубоко я опустилась? В горячке, в бреде я могла думать только о том, чтобы опять вернуться туда.

Десять

Спустя три дня после погружения я так и не пришла в себя. Жар опустился чуть ниже тридцати девяти градусов, но меня все еще мутило, голова казалась пустой, наполненной воздухом, кожа чесалась. После еды тошнило. Я тщетно пыталась описать Андерсону, на что это похоже. Я была не в себе.

– Объясни, – не унимался он с усталостью в голосе.

– Я как обнаженная, – ответила я. – Будто с меня сняли несколько слоев.

– Сверхчувствительная кожа?

– Да. Вроде того. Я будто чувствую, как она движется. Она как живая.

– Я сказал бы, что это хорошо, – улыбнулся Андерсон.

– Нет. Живая отдельно от меня, другая. Каждая клетка гудит и вращается.

Антибиотики еще не подействовали в полную силу. Андерсон ожидал, что когнитивные симптомы – легкий делирий – сойдут на нет вместе с температурой. Я шла на поправку.

– Это не кессонка. Волноваться не о чем.

– Да, – ответила я, глядя перед собой, сидя на краю медицинской койки.

Феликс проводил меня обратно в каюту.

– На что только не пойдешь, чтобы не дежурить на кухне, – пробормотал он, качая головой. – Шучу, – прибавил он, странно глядя на меня.

Что-то не так; я сама не своя. Он помогает мне устроиться на койке, велит звать его, если что-то понадобится. Я ложусь, дверь закрывается, каюта погружается в темноту. Матрас и подушки формируют мое тело. Я чувствую это затылком, спиной, ягодицами и ногами. Меня переделывают в новом положении. Я хочу это увидеть, понаблюдать за процессом творения, но слишком темно, и я не могу разглядеть линию, отделяющую меня от всей комнаты. Не только кожа – каждая моя частичка ползает, кишит. Рой насекомых, спрессованных в приблизительное подобие человеческого тела. И у каждого насекомого своя цель, своя жизненная энергия – я их чувствую, чувствую их деятельность, – но в то же время они несут меня по волнам. Феликс помогает мне собраться, но частицы отваливаются с его прикосновениями, рассыпаются по коридору, а теперь вот распространяются по каюте. Я ускользаю, возвращаюсь, снова исчезаю. Рой насекомых возрождается, поддерживает во мне жизнь. Приблизительное подобие человека. Я благодарна им, и я – это они. Они несут меня по волнам.

Проснувшись, я чувствовала себя намного лучше, уже внятно и знакомо, хотя еще испытывала все то же странное чувство беспокойства и раскрытости, которое саботирует само себя. Телефон сообщил, что я проспала четырнадцать часов. Температура снизилась до тридцати восьми и пяти. Я разглядывала себя во фронтальной камере телефона, тыкая в лицо пальцами и растирая его. Встала в ванную, чувствуя себя гибкой и расслабленной. Физически другая, но не больная. Я наслаждалась первыми мгновениями восстановления, мимолетным неузнаванием себя, благодарностью к обычным вещам.

Я долго стояла под душем, потом переделалась в чистое. И вдруг резко проголодалась, меня потянуло в столовую – узнать, что я пропустила в последние дни. Я двинулась по коридору медленно – не столько из-за неуверенности, сколько из интереса ко всему вокруг: к панельной

обшивке, ощущению ковра под подошвами. Я вдруг оживилась и, хотя в последние три дня практически не ела, была полна энергией, целеустремленностью. Мне не терпелось продолжать экспедицию.

На завтраке со мной заговорила Эми. Оказалось, у нее и остальных после погружения возникли такие же симптомы – тошнота, утрата равновесия, жар, легкий делирий. Она, как и я, переживала из-за кессонки – практически не помнила, как возносилась с глубины, – но недомогание прошло, и теперь она чувствовала себя хорошо. Остальные вроде бы тоже оправились, им не терпелось снова нырнуть. Эми сказала, что аппарат готовят уже к четвертому погружению – в этот раз глубже, ниже мезопелагиали и в хададь⁶, если впадина действительно уходит так глубоко.

– Образцы уже есть? – спросила я с полным ртом твердой гранолы.

– Собраны, упакованы, надписаны, готовы к анализу.

– И на каком вы сейчас уровне?

– В данный момент – пять тысяч восемьсот метров. Как я уже сказала, сегодня планируем опуститься ниже.

Возможности для лабораторных исследований на «Индеворе» были ограничены, и по протоколу обращения с глубоководными материалами на корабле запрещалось изучать все, что найдено ниже фотической зоны. Когда аппараты и линии с зондами поднимались, все полагалось соскрести и поместить в карантин. Весь материал аккуратно упаковывался и хранился в холодильной камере. В каком-то смысле корабль и так находился в карантине: мы просыпались, ели и продолжали работу по ту сторону обширной морской границы.

Андерсон хотел осмотреть нас еще раз. Почти не оставалось сомнений, что причина – в воде, но он перестраховывался и требовал полный список того, что мы ели. Впрочем, прежде я получила записку от Стефана – он предлагал встретиться в аудитории. В последний раз я видела Стефана в воде.

Аудитория – вместительное помещение на средней палубе, с рядами стульев, проектором и пространством по бокам, где люди могли стоять. Войдя, я с разочарованием увидела, что там уже собрались Эми, Эрик и Урсула. Я думала, Стефан хочет поговорить наедине, сообщить что-то важное – может, поручить более ответственное задание или даже повысить меня. Он вошел и закрыл за собой дверь. Было странно видеть зал практически пустым. Мы стояли у двери, в тесном кружке.

– Времени мало, поэтому давайте быстро, – начал Стефан. – После погружения все мы слегли. – Он помолчал, оглядывая нас, проверяя реакцию. – Вы все опытные дайверы и знаете, что это не так уж необычно, причин может быть много. Думаю, сейчас важно не раздувать из мухи слона... И я не предлагаю вам врать, – вставил он раньше, чем мы отреагировали. – Не прошу делать ничего из того, что вас не устраивает. Просто, по-моему, незачем говорить об этом лишний раз. Не стоит гадать, что случилось, и уж точно не стоит гадать в присутствии других. Могу предположить, что в худшем случае они потребуют развернуть корабль.

– Нет, – машинально сказала я. – Уходить нельзя.

– Мы уже это видели, когда обсуждали, пересечь черту или нет, – напомнила Эми. – Люди боятся. Готовы вести себя иррационально.

– Согласен. Надо вести себя осторожнее. Скажем слишком много, скажем что-то не то – и случайно покончим со всем этим раньше времени.

– А что с Андерсоном? – подал голос Эрик.

Мы ждали ответа Стефана.

⁶ Мезопелагиаль – зона океана, охватывающая глубину до 1000 метров. Хададь – самая глубокая океанская зона, лежащая в пределах океанических впадин; простирается на глубину от 6000 до 11 000 метров ниже уровня моря.

– Слушайте, нам ведь всем уже лучше, да? Вообще-то мне хорошо, как никогда в жизни. Так и смысл рассказывать подробности Андерсону? Если симптомы вернутся, тогда другое дело, но, мне кажется, лучше обо всем забыть. И, я думаю, самый верный способ развеять волнение и доказать, что ничего особенного не произошло, – это вернуться в воду.

Одиннадцать

Я заглядывала в воображаемые пучины, на дно впадины, бурлящее археями и бактериями, что кипят в газах, вырывающихся из разверстой земли, – начало цикла преобразования. Возможность жизни, переход минералов в органику, творение вещей в буре ощущений – тех, что стремятся к бесконечности и лишь на миг отделяются от своего окружения перед тем, как снова распасться на отдельные элементы. Я сделала вдох, почувствовала спазм в животе: тревоса, несварение, остатки болезни, подцепленной в воде. Я схватилась за живот, подавила боль и оглянулась на корабль, на низкие крыши палубы, на аккуратные двери, закрывающие уютные каюты. Показала остальным дайверам пальцами «окей», оттолкнулась от кормы и свалилась в воду.

Нами что-то овладело – тяга, страсть, потребность вернуться. Это было нечто машинальное, произвольное – магнитное притяжение, тащившее нас туда снова и снова. Пока аппарат уходил все глубже, мы впятером успели нырнуть несколько раз. Теперь – и несмотря на прежние симптомы – мы не испытывали ни трепета, ни сомнений.

Восторг. Словами не описать, что я видела и чувствовала, когда опускалась и наблюдала за первым этапом погружения аппарата – в фотической зоне над овальной расщелиной. Я не боялась. Я натянула на себя костюм, оттолкнулась от кормы – и носилась в светлой воде, сколько позволял кислород. Потом лежала на палубе: грудь быстро вздымалась и опускалась, в голове кружились образы. В ожидании следующего погружения вытиралась и уходила в аудиторию, где по указанию Эми транслировался – почти в прямом эфире – путь «Сцинтиллы» под нами.

Правда, мы ничего особенного не видели. Аппарат то и дело застревал, запутывался в свободноплавающих водорослях. Но он был этому обучен, успешно выбирался, и Эми каждый раз радовалась, как гордая мама. Даже в середине фотической зоны вода была непрозрачной. «Сцинтилла» включила яркое освещение, и весь зал засиял. Я теряла терпение, решила снова выйти на воздух, посмотреть с палубы, где уже собралась небольшая компания. Хотя мы ничего и не видели – аппарат ушел на сотни метров, – наблюдать было приятно. Из-за этого четвертого запуска, в который планировалось достичь хадаля, приостановили всю второстепенную работу, на палубе царил атмосфера оптимизма и непринужденности – лишь с легкой примесью прежнего напряжения.

Поддаваясь притяжению воды, я одновременно и так же невольно погружалась в свое прошлое. Я возвращалась в океан – и к детству в Роттердаме, к беспричинным побоям Герта, к ночам, когда Фенна исцеляла, мяла меня, возвращала как могла. Я смотрела на те события, будто они происходили с другим человеком, и жалела этого персонажа, как жалела бы незнакомку. Однако эта незнакомка сформировала личность, которой стала я. Сидя на полотенце под солнцем, я не хотела задумываться о связи с ней, отказывалась ее признавать.

Я противилась тому, что меня так просто объяснить, но не могла не подозревать, что в ней есть доля истины. Отчаянно хотелось, чтобы моя жизнь была делом моих рук, чтобы мое нынешнее поведение не сводилось к тому, что случилось там, в детстве. Заплывы в Нйве-Маас были реакцией на побои Герта, впервые подарили мне надежду. Погружение в воду стало прежде всего бегством – и, возможно, в каком-то смысле оставалось им до сих пор. Может, то, что я считала целью и академическим интересом к происхождению и развитию клеточной

жизни, на самом деле было чем-то мелочным, попыткой спастись от собственной истории, но одновременно и замаскированным исследованием. Что, если я не столько изучала происхождение жизни, сколько, к сожалению, продолжала копаться в своей биографии. Открыв глаза и с трудом поднявшись на ноги, я снова смотрела с палубы на ультрамарин, на отраженный от синевы солнечный свет, режущий глаза, вспоминала о формах жизни, которые изучала, о своих подозрениях насчет того, что кроется в источнике под нами, – о тех же организмах, что населяли мое тело и делали материальной боль в моем детстве. В каком-то смысле они были физическими элементами, которые сопровождали и воплощали ту давнюю драму, когда девятилетняя я обнимала больной живот на следующий день после избиения. Но не только – их назначение было бесконечно разнообразнее: они казались мне источником как ужаса, боли, так и радости, азарта. Источником всего внутри и вне нас, до и намного позже того, как мы уйдем. Изучая эти организмы, я вынужденно признавала, что мы – родня. Да и как иначе, ведь от них я произошла. И если быть честной до конца, мне пришлось бы признать и то, что мой разум – мой «характер», как я его называла, все еще наивно представляя его своим творением, бесконечно регрессирующим циклом, – не что-то отдельное, не что-то отрезанное от меня. Путаясь в его зарослях, я смотрела в воду глазами, рожденными в ней же несколько миллиардов лет назад. Это бросало мне вызов, это ставило на место, это провоцировало, но в то же время вселяло в меня страсть продолжать, не останавливаться, заниматься исследованиями как можно дольше, до конца моих сознательных дней.

Мы снова столпились в аудитории, наблюдая, как в полуночной зоне ползают призрачные, зернистые серо-белые блики от луча подводного аппарата. Мой разум переполняли фрактальные губки и построенные целиком на повторениях вытянутые существа, напоминающие древесные листья, самоподобные организмы, снова и снова заявляющие о себе со времен Авалонского взрыва – первого излучения многоклеточной жизни. Но на самом деле я почти ничего не видела. Все, что мы могли разглядеть, – то есть все живое, а Урсула, специалист по китовым, считала, что там могут обитать и крупные позвоночные, – питалось в первую очередь археями и отфильтрованным органическим туманом из тел, разорванных в фотической зоне. Аппарат чуть повернул, белый луч пролился во внешнюю тьму на неизмеримое расстояние – два метра или двести, – и я увидела проблески крошечных частиц, микрокосмы некогда единого целого, мясное облако, которое кормило мрачную жизнь здесь и ниже, в сумеречной и хадальной зонах, и даже ниже хадальной, ниже преисподней, если такое место вообще существует. Я размышляла о щедрости проницаемой жизни, глядя на, как мне казалось, разложившийся в воде организм того, что раньше жило, чувствовало, обладало собственными желаниями. Смерть порождает жизнь. Глупо, но меня это трогало; самопожертвование всего живого, всего, что превращается в дымку. Кремнекислотные частицы, что опускаются и этим позволяют подняться тем условиям, благодаря которым образовался океанский источник. Скелеты и раковины диатомей и кокколитов тонут, миллиарды лет закладывают основу из мела и известняка. Безмолвный климат тела пронизывает океан и атмосферу, поддерживает новую жизнь, продолжающуюся жизнь, приносит...

Все остановилось. Все умерло.

– Черт! – выкрикнула Эми.

Экран стал кромешно-черным, а зал, в свою очередь, погрузился в непроглядную тьму. Засветились голубые пятнышки телефонов, зашептались люди; кто-то нашел выключатель. Не сбой электрики – на корабле ничего не отключилось. Не поломка проектора. А значит, дело в самом аппарате, в «Сцинтилле» – связь с ней пропала, пока она проходила только верхние слои полуночной зоны.

Мы воспроизвели запись снова – будто притворялись, что это неправда. Я и Феликс ушли на кухню накрывать на стол. Еда помогла. В следующие часы царило замешательство: слухи,

попытки объяснить, что произошло, противоречивые данные – все разжигалось отсутствием четких заявлений со стороны Стефана, Эми и операторов «Сцинтиллы», запершихся в рубке. Самый красочный слух – что в аппарат что-то ударило и разбило камеру, защищенную укрепленным плексигласом. Кое-кто говорил, что миссии конец, теперь остается ее только отменять. Эта мысль – о возвращении – была сокрушительной; я оказалась к ней не готова. Другие говорили, что потерял только визуальный контакт, и, хоть это тоже большой удар, на нашу задачу измерения абсолютной глубины это никак не влияет. Под вечер Стефан собрал нас в аудитории и объявил: пока мы в точности не установим, что произошло, новые погружения запрещены.

Фенна никогда не вела себя как мать в традиционном смысле этого слова. Близость доставляла ей дискомфорт (например, я не помню, чтобы мы хотя бы раз обнимались, даже на секунду). Я всегда себе объясняла просто: это неизбежное следствие ее математического склада ума. Фенну притягивала бесконечность, ледниковое спокойствие совершенной и четкой реальности за пределами организмов, за пределами материи. Это ее успокаивало, было понятной и привлекательной альтернативой отчаянного и разочаровывающего непостоянства всего живого.

Вообще-то она никогда не одобряла то, чем я занималась. Помню, как, когда мне было лет тринадцать, она спросила, уверена ли я в выборе предмета для изучения. Сначала я воспринимала это как критику и очередное подтверждение моего одиночества, а теперь задумываюсь, не пыталась ли она на самом деле подтолкнуть меня к своему миру, к математике или физике, которые позже выбрала Хелена. Мы тогда отправились на редкую прогулку. Выйдя из парка, попали в лесок и задержались у ручья. Мы наблюдали за тем, как несется и пенится вода, и тут она повернулась ко мне:

– Ты знаешь о тихоокеанском лососе?

– *Знаю?*

– Да. Из уроков. Или из книг. Нигде не натыкалась?

– Не припомню. – Приготовившись защищаться, я сложила руки на груди. – А что?

– Он интересный. Ты скоро о нем услышишь. Лосось вылупляется из икры в таких вот ручьях, а потом мигрирует в океан. Когда же он готов к нересту, он преодолевает огромные расстояния, чтобы вернуться в родной ручей.

– В тот же самый?

– Да.

– Невероятно. – Меня поразили этот факт, но еще более странным было услышать его от Фенны.

– Да, – сказала она. – Но это не все. Спустя недели после нереста их тела размягчаются – и разлагаются. В том же самом ручье, насыщая при этом воду питательными веществами, чтобы ими кормился молодняк.

– Что-то вроде каннибализма?

– Пожалуй, в каком-то смысле. – Она улыбнулась. – Знаешь, не так-то просто быть родителем. Надеюсь, ты это понимаешь. Но я сейчас говорю не просто о семьях, детях; я говорю обо всех. Каждый человек – родитель. Вот что значит стареть – *катастрофическая сенесценция*⁷. Вот что значит умирать. Становиться родителем. Растворяться в ручье.

Дальше мы шли молча.

Хуже всего в побоях было подозрение, что Фенна могла бы их прекратить, но не прекращала. То, за что я цеплялась годами, единственное доказательство ее любви, – руки Фенны на моих больных костях по ночам, – на самом деле могло его только ненароком раззадори-

⁷ Сенесценция – старение. Катастрофическое старение – разновидность эволюции, при которой уровень смертности у взрослых представителей достигает 100 процентов после размножения.

вать. Я мучила себя мыслями о безмолвном враче, который помогает истязателям, поддерживая в жертве жизнь и сознание. Это ужасно, это мазохизм, и я не могу в это поверить. Если забота Фенны и правда позволяла Герту избивать меня дольше, то это все равно не отменяет той любви, которую я чувствовала. Не может отменять. Фенна поддерживала меня, зная, что однажды я сбегу от отцовского насилия.

– Ты как?

Я подняла глаза и увидела, что в меня вглядывается Стефан.

– Нормально. Просто задумалась. Семья, знаешь.

– Если захочешь поговорить...

– Спасибо, – ответила я, выдавив улыбку. – Все хорошо.

Тянулись часы, наступила ночь, и, когда погас внешний свет «Индевора», проявилось небо – густо набитое тысячами, сотнями тысяч, миллионами звезд: словно широкая черная вуаль, из-за которой просвечивала стена сияния. Огромные расстояния над нами намекали на пропасть под нами; если звезды напоминали проколы во тьме, то расщелины вроде Атлантического кратера и Марианской впадины походили на такие же дыры в земной коре: свет далеких звезд и свет земной печи – противопоставленные признаки скрытого огня. Наверху и внизу таилось ослепительное сияние.

Двенадцать

В зале было около дюжины человек. Я посмотрела на время: 3:28 – почти все спали, а новости только-только пришли. Феликс вкратце их пересказал. Операторы каким-то чудом восстановили контакт с аппаратом, уже опустившимся на глубину в девять тысяч метров, преодолев границу между сумеречным и хадальным слоями. То, из-за чего пропала картинка, каким-то образом замедлило движение аппарата. Меньше получаса назад пришло новое изображение, и операторам пришлось пересмотреть свое понимание произошедшего. Если «Сцинтилла» еще снимает, то значит, объектив не разбит. Новая теория заключалась в том, что сбой электроники закоротил платы и прервал передачу данных на корабль.

– Но что могло повредить проводку? – спросила я.

– Не знаю – что-то ведь ударило аппарат?

– Но что?

– У тебя есть варианты получше?

Полученные наконец снимки оказались пустующими. Ни единого признака жизни. По крайней мере, жизни видимой; а ведь глубины должны кишеть микроскопическими облаками. Воцарилось разочарование из-за отсутствия визуальных подтверждений, что ниже хадальной зоны водятся позвоночные. Но, разглядывая четвертый снимок, я чувствовала далеко не разочарование. На стене аудитории плыли белые блоки – обломки карбонатных глыб, отколовшиеся от минеральных башен в глубинах источника. Мы продолжали наблюдать. В полной тишине одна картинка сменялась следующей.

– Это все, – объявил Стефан. – Боюсь, больше снимков нет. Но мы только что получили новые данные радара. Это сканирование, как вы помните, должно быть надежнее, потому что оно проводилось с большей глубины и с учетом характеристик воды, – показывает еще двести.

– Двести метров? Значит, мы почти на месте, достигли дна.

Снова странное ощущение, трепет и невесомость у меня в животе, покалывание в ладонях.

Стефан покачал головой.

– Не метров. Километров.

Было уже поздно, и на нас свалилось слишком много всего, чтобы теперь думать о сне. Двести километров – очевидная ошибка, но что могло ее вызвать? И какая там глубина на самом деле? Новость распространялась, появлялось все больше людей, из-за стен доносились шаги и голоса. Опустившийся за ночь туман откладывал рассвет. Снаружи все было безмолвным и серым. Мачта скрипела, палуба качалась. Со всех сторон картина выглядела одинаково: лишь ближайшая к борту вода, ни глубины, ни перспективы. Без солнца я не могла сориентироваться, нас будто окутала пелена. Наконец, сразу после семи, солнечные лучи начали выжигать дымку, постепенно раскрывая утро. Добавлялась деталь за деталью – творение становилось все более впечатляющим, – море расширялось, простиралось все дальше, пока наконец не соприкоснулось с небом на горизонте.

Я заварила кофе, разогрела закуски. Внутри «Индевор» сиял мягким, зыбким светом. Наполняя до краев кружки, раздавая горячие булочки, я собирала реакции на новость. Стефан и его операторы предполагали, что во время очередного сканирования глубины произошел дополнительный световой фидбэк. Из-за электрических неполадок аппарат выпустил больше света, чем планировалось, и вместо того, чтобы замерять время каждого светового эха, началась цепная реакция – каждое отражение прибавлялось к предыдущему. Поэтому мы увидели сумму множества световых сигналов, а не один, указывающий истинную глубину.

Вернувшись к работе, я поняла, что за однообразным и предсказуемым делом мне проще думать. Труд, хотя и урывочный, освобождал разум, и тот блуждал без направления, поднимая на поверхность новые впечатления и мысли. Я тут же принялась размышлять о магнитных полях. Выходит, аппарат видел галлюцинации, присылал данные о выдуманных глубинах. Конечно, впадина не может уходить под землю на двести километров. На данном этапе сканирование глубины – хоть сонаром, хоть радаром – только сбивало с толку. Аппарат способен показать бесконечную глубину, соизмеримую с петлей Вселенной. Но вот причина ошибки по-прежнему оставалась интересна. На большой глубине в Марианской впадине тоже наблюдалась необычная магнитная активность, и хотя для воздействия на такой аппарат активность должна быть немаленькой, это в принципе казалось возможным объяснением. На дне впадины обнажилась мантия, состоящая из расплавленных железа и никеля, которая создает магнитное поле планеты. Так ли глупо предполагать, что сам гидротермальный источник и вызвал магнитные помехи, запутал подлодку, закоротил ее платы?

Я задумалась о том, как мы впятером слегли после погружения: странный опыт в воде, температура, потеря аппетита и равновесия, тяжелое расстройство желудка, общая спутанность сознания. Стефан говорил о «хадальной лихорадке», которая наблюдается при первом приближении к подобным местам; сперва я решила, что это психологическое явление. Потом, сжимая живот, корчась и ворочаясь в постели, вспомнила об археях-экстремофилах, что обитают у нас в нижней части живота и родственны разновидностям, живущим в километрах под нами. Не могла ли магнитная волна – та же самая, что повредила аппарат, – повлиять и на организмы внутри нас? Не могли ли наши трепет и возбуждение отчасти быть результатом их взаимодействия с магнитным полем – и не потому ли мне так хотелось вернуться назад?

В иллюминаторы струился солнечный свет. Небо на востоке полосовалось красными, розовыми и пылающе-оранжевыми оттенками. Нас потянуло на палубу – наблюдать в тишине за расцветающим утром, любоваться огромностью вновь открытого горизонта. Небо было спокойным, волна – низкой, мгновение – невыносимо идеальным, невыносимо неподвижным.

Тринадцать

Тот период ощущался выпавшим из времени. Мы не видели суши неделями. Не видели огней других судов, следов самолетов в небе. Нас покинули даже крачки. «Индевор» покачивался на воде – в давящей жаре дня и во влажной, удушающей, иссиня-черной тьме ночи. Не

верилось, что где-то продолжается обычная жизнь, что если проплыть в любом направлении, то увидишь здания, дороги, огромные шумные пространства, где люди живут своей жизнью.

Аппарат продолжал погружение, пусть и медленнее, чем прежде, и показывал глубину то в десять, то в одиннадцать тысяч метров. На двадцать седьмой день нашей экспедиции, во вторник, 11 июля, в 16:43, он достиг одиннадцати тысяч метров – уровня предполагаемой глубины Марианской впадины, на который еще не заходили никакие другие исследователи. Мы царапали дно мира. Эми объявила об этом притихшей, битком набитой аудитории и заслужила взрыв аплодисментов.

На этой глубине перед операторами вставала дилемма. Как Эми объясняла ранее, аппарат практически автономен. И хотя его действия нельзя контролировать, у него можно отключить автономное управление, чтобы поднять. Вопрос заключался в том, делать ли это сейчас или на тринадцати километрах – медленно вернуть аппарат и извлечь из него кладези данных, – или же позволить ему продолжать путь. Опуститься до тринадцати километров тоже не так-то просто: аппарату придется выдержать невероятное давление в тысячу сто атмосфер. Рассказывая об этом, Эми поморщилась, словно на себе испытывала чудовищную силу, медленно и неизбежно сжимающую «Сцинтиллу». Никто не знал наверняка, сколько еще выдержит аппарат; это, кроме прочего, и должно было выявить испытание. Догадки, конечно, имелись, но на то они и догадки. Поэтому Эми, ее команда и все остальные на корабле разрывались между желанием спасти миниатюрную подлодку – наше странствующее око, наш светоч, что кружился и медленно сминался в пучинах, – поднять на поверхность и наконец забрать образцы и искушением оставить ее внизу, чтобы она и дальше терпела вес океана, придавливающий все ниже, дальше, за пределы хадаальной зоны.

В тот день я осознала, что давно не видела Стефана. Скорее всего, сидел взаперти в своей каюте, отгородившись от всех наушниками, и ломал голову над чем-нибудь техническим, но я почему-то волновалась за него, хотела от чего-то защитить. И скучала – по нему, по его маниакальной энергии, по его рвению. Скучала по нашим дискуссиям, которые мы вели в начале экспедиции, уже как будто целую жизнь назад. Из-за всего, что происходило, Стефан отдалялся все больше, сосредоточенный лишь на погружении аппарата. Я редко видела его одного и жалела об этом.

Когда он наконец вернулся и собрал нас в аудитории, он выглядел иначе: глаза горели, дыхание было тяжелое, узкая грудь вздымалась под все той же мешковатой оранжевой футболкой, в которой я его впервые встретила. Он хотел сообщить две новости. Первая – подводный аппарат прошел шестнадцать километров и тем самым доказал, что кратер под нами не просто глубже самого глубокого места на земной поверхности, а глубже его на целых четыре с половиной километра. В этот раз аплодисментов не было – только ошарашенное молчание, слезы, а затем взрыв повторяющихся возгласов: «О боже, о боже!» Но Эми внимательно смотрела на Стефана, ожидая второй новости. Он же отвернулся от нее, не в силах взглянуть в глаза.

– Все кончено, – произнес он наконец. – Мы его потеряли, аппарата больше нет. Семнадцать тысяч двести. Контакт потерян.

Четырнадцать

Во тьме над нами ходили штормы. Даже в каютах чувствовалось электричество, напряжение, духота, сверкающие вокруг нас безмолвные завесы. На освещаемой вспышками воде мелькали силуэты – темные фигуры, мороки, порожденные штормом. Молнии не отставали, преследовали нас, окружали светом, даже когда течение отнесло корабль на несколько сотен метров, обратно к краю кратера.

Данные о давлении и температуре мы получили с шестнадцатикилометровой глубины, но образцы воды и минералов – только с одиннадцати километров, с последней точки подъема

«Сцинтиллы». Это вызывало странную смесь чувств: гордость, возбуждение, эйфорию из-за образцов, взятых в области, прежде недоступной человеку, – но и глубокое, мучительное сожаление о том, что мы не смогли поднять ничего еще ниже. Самое основание кратера оставалось вне досягаемости, но и так близко, что я все еще чувствовала его эффект: продолжительные головные боли, сны о бесконечном падении, регулярная потеря равновесия на палубе. Я не знала, вернемся ли мы еще сюда, позволят ли ресурсы – или «Индевор» останется единственной подобной миссией. Может, придется годами дожидаться прогресса в проектировании глубоководных аппаратов. Может, мы так никогда и не узнаем, что находится внизу – какая глубина, что на ней живет, если живет. В голове не укладывалось, что никто и никогда не сумеет открыть больше, чем сделали мы. Если возможный исход любой следующей миссии – утрата очередного оборудования на миллиард долларов, то кто ее одобрит?

Пока мы продолжали документировать события предыдущих недель, Стефан объявил, что через двое суток «Индевор» развернется и начнет долгий путь обратно в порт. Хотя это и было неизбежно, новость поразила меня до глубины души. Я была к этому не готова – не готова уходить. Меня мучило ужасное чувство упущенной возможности, несправедливости – и уже начиналась дешевая сентиментальная ностальгия по нашим достижениям в начале миссии, когда казалось, что открытиям не будет конца, что откровения не перестанут удивлять. Феликс старался меня утешить за его джином с соком, который мы смешивали тайком. Он сказал, что это не конец, а только начало следующей стадии – наземной части миссии, где, получив глубоководные образцы, специализированные лаборатории наконец их проанализируют и поймут, что в них заключено.

– Но мы-то этого уже не увидим, да? – возразила я. – Все, что мы собрали, у нас отнимут. Мы больше никогда и ничего не увидим.

С крохами, принесенными из субхадальной зоны, обращались со всем почтением, какого заслуживают чужеродные формы жизни. При каждом глубоководном подъеме соблюдался строжайший протокол безопасности. Расчищали всю верхнюю палубу, аппарат поднимали с помощью ДУМ. Образцы – опять же удаленно – помещали в герметичный контейнер, а сам аппарат после тщательного визуального осмотра отправляли обратно в воду для нового погружения.

Даже когда герметичные контейнеры переправят на сушу, они прождут в карантине не меньше девяти месяцев. Никто не мог мне ответить, когда их откроют, какая лаборатория их получит. Феликс советовал не принимать это близко к сердцу, он сомневался, что Стефан сам знает, куда отправятся образцы. Было непонятно, кому они на самом деле принадлежат – что бы в них ни было. Вроде бы очевидно, что продолжать работу с ними должны Стефан, Карлссон и Эми, но даже Эми не имела права голоса. «Я инженер, – сказала она. – Я не изучаю экстремофилов. Этим занимаешься ты».

На следующий день я проснулась пораньше, чувствуя себя сильнее – и испытывая почти необоримое желание вернуться в воду. Это мог оказаться мой последний шанс нырнуть. Вопреки указаниям Стефана, меня тянуло назад. Я думала, никто не заметил, как я крадусь тайком впопыхах, но тут как гром среди ясного неба раздался властный голос Эми. Она вырвала маску из моих рук.

– Ты хоть понимаешь, как рискуешь? – строго спросила она. Я не могла отвести взгляд от ее глаз. – Ты же слышала Стефана: пока мы не узнаем точно, что случилось, там опасно. Ты подвергаешь себя опасности. Хотя, Ли, если честно, меня даже не это волнует. Если там пропадешь ты, тебя отправятся искать, и тем самым ты подвергнешь опасности других.

Пристыженная, я вернулась в каюту. Я хотела продолжать, я не могла так просто уйти, и неважно, попаду я потом в лабораторию или нет. Но выбора не оставалось. Вынужденное

возвращение зависело не только от поломки подводного аппарата: у нас кончались топливо и провизия. Всего через тридцать четыре дня экспедиции, что казалось странным. «Индевор» – сравнительно большое судно; я сама работала на кухне и видела двадцатитрехкилограммовые мешки с рисом и холодильную камеру, набитую тушами. Но часть продуктов испортилась из-за неполадок в электрике, сбившей настройки холодильника. А незначительная поломка двигателя, как выяснилось, регулярно приводила к утечке топлива; при этом программа, которая должна была поднимать тревогу, ничего не замечала. Топлива хватило бы еще на дни, даже на недели, особенно если учесть, что на стоянке мы расходовали минимум, но капитан непреклонно твердил, что не допустит этого, что по нерушимому протоколу всегда должен иметься запас топлива на крайний случай.

В последний вечер перед разворотом мы все снова стояли на палубе, как и тридцать пять дней назад, когда готовились пересечь черту. Разница была в том, что теперь никто не оделся официально, а алкоголь лился рекой. Под сумеречным небом мы кружили по кораблю. «Время пронеслось так быстро» и все такое – да, так оно и есть. «Что за невероятное приключение, как нам повезло в нем поучаствовать!» И неизбежно – чем больше пили вина, тем чаще даже самые молодые задавались вопросом: доведется ли нам еще поучаствовать в чем-нибудь подобном?

Было уже темно, и, как в тот раз, когда мы впервые встали над расщелиной, поднялся ветер. Я чуть не подскочила из-за громкого корабельного гудка и расплескала вино из бокала. Значит, мы готовы отплывать, но почему-то – я сверилась с часами в телефоне – на восемьдесят минут раньше. Гудок прозвучал вновь – трижды. Я огляделась, однако увидела лишь те же недоуменные выражения. Я направилась на противоположный борт. Проходя мимо носа, вдруг заметила проблеск – кто-то посветил на меня фонарем? Но, судя по ощущению, свет шел с другой стороны – из-под воды.

Над перилами склонился и кричал человек. Карлссон показывал на черную воду.

– Что там? – спросила я. И тут же увидела сама – слабое свечение метрах в ста. Лужа яркой воды среди тьмы.

К нам уже спешили другие.

– Там какая-то лодка! – крикнул кто-то.

– Это не лодка, – ответил Карлссон.

«Вот оно, – подумала я, – наконец, то скрытое, та музыка за непроницаемыми дверями. Массовая электрическая активность в воде, свечение жизни, то самое, что мешало сонару и радару, уничтожило подлодку, сократило запасы продовольствия и повредило сигнализацию топливного датчика. То самое, что ослабило нас и влекло обратно в воду, снова и снова. Вот оно», – думала я. И ошибалась.

Пятнадцать

Экипаж приступил к немедленному извлечению. «Индевор» сиял всеми огнями, пока мы готовили «Зодиак» и выясняли, кто из нас еще в состоянии плыть. Во всеобщем замешательстве я смогла без чужих возражений натянуть гидрокостюм, и через считанные минуты после того, как Карлссон заметил наш аппарат, одиннадцать человек спустились на воду.

Свет был непостоянным, угасал и загорался, словно передавая азбукой Морзе осмысленное послание. Приблизившись, мы заглушили двигатель «Зодиака» и обошли сияние по кругу. Эми приготовила ДУМ, а остальные достали длинные металлические инструменты. Мы сидели в костюмах – не для защиты от заразы, а чтобы показать: если придется, то мы, несмотря на все риски, отправимся в воду. Через несколько минут возни Эми наконец подняла на палубу бесформенные фрагменты – скомканные пластмассу и стеклопластик с лампочкой внутри.

Значит, это не весь аппарат, как мы предполагали, а только освещение. Отделяемый прожектор, который чудесным образом продолжал светить, даже столкнувшись с жаром, о чьей силе говорил оплавленный корпус. Мы доставили прожектор на корабль, почти не соблюдая карантинный протокол. Зону разгрузки накрыли толстым брезентом, прожектор положили на него, потом завернули, как и брезент, после чего палубу обработали отбеливателем. В это время я уже вернулась на один из четырех «Зодиаков», которые отправились прочесать окрестности. Прожекторы сияли с обоих бортов корабля, отбрасывая резкий лунный свет на полуживую воду, чем только усиливали ощущение шока и нереальности происходящего. Какая странная это была ночь – пять часов в лодке, громкий гул генератора за спиной, почти белая в ярком свете вода.

– Стоп! – раздался голос. – Назад, кажется, я что-то вижу.

Но это была ложная тревога. И теперь корабль ускользал от нас, свет почти рассеялся, видимость приближалась к нулевой.

Второй смене повезло больше. К девяти утра мы подняли еще шесть фрагментов аппарата. Каждый раз это происходило мучительно медленно: команда извещала Эми, оставшуюся на борту, она готовила ДУМ, которую затем доставлял на место другой «Зодиак». После – аккуратный подъем, герметизация и тщательная очистка палубы. К утру мы спасли семь частей, сфотографировали каждую со всех сторон, и Эми уже могла сделать предварительные выводы. На всех обломках имелись следы воздействия высокой температуры – внешние поверхности обуглились, пошли волдырями, расплавились. По мнению Эми, это не результат «внутренней поломки» – источник жара находился снаружи. И она, хотя и не советовала делать скоропалительных выводов, сама же признавала: возможно, «Сцинтилла» достигла истинного дна впадины и сгорела в подводной печи. Эми в возбуждении разглядывала фотографии измученных обломков, словно радовалась, что после такого испытания от устройства, которое они построили, все-таки осталось хоть что-то.

До сих пор мы находили только внешние фрагменты, за исключением лампочки. А хотели бы найти герметичные компоненты из внутренней камеры. Они проектировались так, чтобы пережить любую катастрофу; в теории они могли всплыть в любой момент, и каждый – с новыми сокровищами: данными о точной глубине, графиками давления и температуры, образцами воды и даже донных скал. Мы установили бы глубину кратера и что там живет. Но это уже казалось маловероятным. Прошел почти целый день с тех пор, как мы выловили прожектор, и капитан твердо заявил: что бы еще ни случилось, скоро он даст команду отплывать.

С момента находки я почти не сомкнула глаз – как и все остальные. Двери кают стояли нараспашку, люди забивались в уголки, чтобы час-другой подремать, и потом возвращались к поискам. Внутри витал запах горелого кофе, а на палубе – чистящих средств, соли и пота. Я заснула, положив голову Эми на плечо, и проснулась под ее улыбку. Было такое чувство, что линейное время снова сошло с рельс, что наш опыт расширяется и охватывает больше, чем казалось возможным. Свет зари, переливающийся из-за горизонта. Невероятный звездный простор. Восторженные комментарии Эми о фотографиях расплавленного стеклопластика и металла. Я посмотрела на Стефана, неподдельно счастливого, и поняла, что он думает о том же, о чем и я: где-то на одном из компонентов могут найтись признаки новой формы жизни, организма, который расскажет нам больше о том, как все началось.

Я не хотела уезжать, я хотела остаться здесь навсегда, искать, пока была надежда. Всего чуть больше пяти недель – а я уже забыла, как выглядит суша. Весь день мы не ели, постились, чтобы закаты последний пир вечером, перед гудком. Наконец мы приняли душ, смыв следы многих часов поиска, поели, выпили и вышли вместе на палубу под рев гудка и двигателей. Когда мы отчалили, я не могла отвести от кратера взгляд, уставившись на воду, вспененную нашим движением. И ждала, ждала, когда все-таки покажется тот самый, главный обломок.

Шестнадцать

Не было какого-то конкретного момента, когда мы заметили, что Стефан пропал. Это одна из особенностей корабля – он засасывал людей и прятал их в недрах на несколько дней кряду. Для такого ограниченного пространства – пять палуб, пятьдесят семь метров в длину – было удивительно много мест, где можно спрятаться, поэтому никто и не забеспокоился о намеренном временном отсутствии Стефана, когда мы отчалили от источника, пересекли его периметр второй раз и начали путь к порту.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.